

The Catcher in the Rye

J. D. SALINGER

ДЖ. Д.
СЭЛИНДЖЕР

Ловец на хлебном поле



Джером Дэвид Сэлинджер

Ловец на хлебном поле

Серия «Загадочная душа Сэлинджера»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24314756

Джером Д Сэлинджер. Ловец на хлебном поле: Эксмо; Москва; 2017

ISBN 978-5-699-87268-8

Аннотация

Знаменитый роман Дж. Д. Сэлинджера "The Catcher in the Rye" (*Над пропастью во ржи*) в переводе Макса Немцова. Перевод без цензуры и "без купюр". Непричесанный сленг главного героя Холдена Колфилда еще ярче воссоздает его обостренное восприятие действительности и неприятие общих канонов и морали современного общества.

Единственный роман Сэлинджера стал переломной вехой в истории мировой литературы.

Содержание

1	5
2	12
3	25
4	39
5	51
6	57
7	66
8	75
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Джером Д Сэлинджер

Ловец на хлебном поле

J. D. Salinger: THE CATCHER IN THE RYE

© 1945, 1946, 1951 by J. D. Salinger

Copyright renewed 1973, 1974, 1979 by J. D. Salinger

© М. Немцов, перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

1

Если по-честному охота слушать, для начала вам, наверно, подавай, где я родился и что за погань у меня творилась в детстве, чего предки делали и всяко-разно, пока не заимели меня, да прочую Дэвид-Копперфилдову¹ херню, только не в жилу мне про все это триндеть, сказать вам правду. Во-первых, достало, во-вторых, предков бы по две кондрашки хватило, если б я стал про них чего-нибудь личное излагать. Они насчет такого чувствительные, особенно штрик. Не, они *нормальные* всяко-разно, я ничего не хочу сказать, но чувствительные, как не знаю что. А кроме того, так я вам и выложил всю автобиографию, ага. Я вам только про безумное расскажу, что со мной случилось на прошлое Рождество, перед тем как меня шарахнуло и пришлось отвалить сюда расслабляться. То есть это я и Д.Б. рассказывал, а он мне *брательник*

¹ Дэвид Копперфилд – главный герой-рассказчик романа английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870) «Личная история, приключения, жизненный опыт и наблюдения Дэвида Копперфилда-младшего из Грачевника в Бландерстоне (ни в коем случае не предназначавшиеся для печати)» (1849–1850), который начинается с подробного изложения обстоятельств рождения героя: «Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой – должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в двенадцать часов ночи (так мне сообщили, и я этому верю). Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов...» (пер. А. Кривцовой, Е. Ланна). – *Здесь и далее прим. переводчика, кроме оговоренных особо.*

всяко-разно. Живет в Голливуде. От этих своясей недалеко – считай, каждые выходные в гости ко мне приезжает. И домой меня отвезет, когда я, наверно, туда через месяц поеду. Он только что «ягуар» себе прикупил. Английская хрень такая, двести миль в час выжимает. Выкатил за него аж четыре штуки. У него теперь грóшей много. А *раньше* вот не было. Раньше он обычный писатель был, когда жил дома. Сочинил уматную книжку рассказов – «Тайная золотая рыбка» называется, если не слышали про него. Лучший рассказ там – эта «Золотая рыбка» и есть. Про пацана, который никому свою золотую рыбку не показывал, потому что он ее на свои деньги купил. Я чуть не сдох. А теперь он в Голливуде, Д.Б. то есть, – собой торгует. Кино это я просто ненавижу – как мало что. Про кино вы мне лучше и не заикайтесь.

Я вот откуда начну – с того дня, когда свалил из подготавлишки Пенси. Это такая школа в Эйджерстауне, Пенсильвания. Слыхали, наверно. Ну, рекламу точняк видали. Они ее в тыще журналов ляпают – там еще всегда какой-нибудь ферт на лошади через забор прыгает. С понтом, в Пенси мы только в поло и играем. Я там даже в *округе* ни одной лошади вообще не видал. А под фертом на лошади всегда написано: «С 1888 года мы лепим из мальчиков великолепных здравомыслящих юношей». Это для лохов. Ни шиша в Пенси не лепят, такая же школа, как другие. И никого великолепного или здравомыслящего я там тоже не встречал. Ну, может парочку. И то много. Да и те, наверно, *до школы* такими были.

Короче, в ту субботу был футбол с Саксон-Холлом. В Пенси играть с Саксон-Холлом – всегда кипиш. Последний матч года, и если Пенси не выиграет, прям хоть в петлю. Помню, часа в три стою аж на самой вершине Томсен-хилла, возле этой долбанутой пушки, что в Американской революции бабахала всяко-разно. Оттуда стадион хорошо видать, и как обе команды по всему полю мясятся. Трибуны разглядишь не сильно, зато как орут – слышно, со стороны Пенси зашибись хай стоит, потому что туда вся школа, считай, вывалила, но без меня, а от Саксон-Холла – совсем сопливо и хило, потому что гости поля почти никого с собой вообще не привезли.

Девчонок на футболе почти не бывает. Подружек водить разрешается только старшим. В общем, жуткая школа, как ни посмотри. Мне-то в жилак, если хоть иногда девчонок видно, пускай они там чешутся, сморкаются, или хоть пускай хихикают, или еще как-то. Эта Селма Тёрмер – она директорская дочка – на футбол вполне себе часто ходила, только по таким, как она, сохнуть как-то не очень. Но ничего девка, путёвая. Я как-то с ней сидел в автобусе из Эйджерстауна, и мы чуток даже потрепались. Мне понравилась. Шнобель у нее дай боже, ногти все обкусанные, и кровь от заусенцев запеклась, а лифчик с подкладкой и топорщится во все стороны, но ее все равно как-то жалко. А мне в ней понравилось, что она не лепит тебе всякий навоз, мол, какой у нее штрик четкий. Наверно, сама знает, что он дутый халдей.

А на верхушке Томсена я стоял и на игру не пошел вот почему – я только что вернулся из Нью-Йорка с командой по фехтованию. Я, на фиг, заведовал фехтовальной командой. Не хрен собачий. Утром мы поехали в Нью-Йорк на турнир со школой Макбёрни. Только никакого турнира у нас не было. Я, на фиг, забыл все рапиры и прочее в метро. Но я тут не сильно крайний. Там же все время вставать надо было – на карту глядеть, чтоб не проехали. В общем, в Пенси мы вернулись где-то в полтретьего, а не к ужину. Бойкот такой от целой команды всю обратную дорогу в поезде. Даже смешно местами.

А еще футбол смотреть я не стал потому, что шел попрощаться с этим Спенсером, он у меня историю вел. Спенсер свалился с гриппом, и я прикинул, что, наверно, до рождественских каникул его не увижу. А он мне записку написал, дескать, хочет встретиться, пока я домой не уехал. Знал, что в Пенси я больше не вернусь.

Про это я забыл сказать. Меня вышибли. После каникул я и не должен был возвращаться, потому что провалил четыре предмета, не брался за ум и всяко-разно. Меня неоднократно предупреждали, чтоб я взялся за ум, особенно в середине семестра, когда предки являлись на беседу с этим Тёрмером, но я не брался. Вот и выперли. Из Пенси частенько вышибают. Там очень хорошая академическая успеваемость. Куда деваться.

В общем, декабрь и всяко-разно, колотун, как у ведьмы за

пазухой, особенно на верхушке этого дурацкого холма. А на мне только двусторонняя куртейка и никаких ни перчаток, ничего. За неделю до этого у меня сперли верблюжье пальто прямо из комнаты, а в кармане были перчатки на меху и всяко-разно. В Пенси жуликов пруд пруди. Многие из таких богатеньких семей приезжают, а все равно жулья полно. Чем дороже школа, тем больше в ней жуликов, точно вам говорю. Ладно, стою рядом с долбанутой пушкой, гляжу вниз, где футбол идет, а жопа подмерзает. Только футбол я, в общем, не очень смотрел. Я чего там валандался – я, с понтом, хотел попрощаться. Ну то есть, я и раньше сваливал – и из школ, и так, что даже не дорубал, сваливаю или нет. Терпеть не могу. Да наплевать, сопли там на прощанье или вопли, но когда я сваливаю, мне надо *знать*, что я сваливаю. Иначе еще хуже.

Мне повезло. Я вдруг подумал такое, от чего мне сразу стало ясно, что меня, на фиг, тут больше нет. Вспомнил, как где-то в октябре мы с Робертом Тихнером и Полом Кэмпбеллом мячик пинали перед главным корпусом. Они путёвые парни, особенно Тихнер. Время как раз к ужину, почти стемнело, а мы всё пинаем. А темнеет, мяча нам уже почти и не *видно*, только бросать не хочется. Но пришлось. Из окна главного корпуса этот биолог высунулся, мистер Замбези, и велел нам в общагу двигать, готовиться на ужин. Вот когда у меня получается такую хренотень вспомнить, прощание выходит, если надо, – считай, почти всегда. И как только получилось, я развернулся и дернул вниз по другому склону, к

дому этого Спенсера. Он жил не на территории. На авеню Энтони Уэйна².

Я добежал аж до главных ворот, а там притормозил на секундочку, дух перевести. Дыхалка у меня слабая, если по-честному. С одной стороны, я дымлю как паровоз – то есть, дымил. Заставили бросить. А с другой, за последний год я *вырос* на шесть с половиной дюймов. Потому и ТБ, считай, подхватил, и сюда приперся – все эти анализы сдавать и прочую херню. Но вообще-то я здоровый.

Ладно, я отдышался и рванул через Трассу 204. А она вся обледенела, как не знаю что, и я там чуть не грохнулся. Фиг вообще знает, зачем бежал – наверно, просто хотелось. А за дорогой вдруг понял, что как бы исчезаю. День вообще долбанутый, неслабая холодрыга, никакого ни солнца, ничего, и как дорогу перейдешь – такое чувство, будто исчез.

В общем, ух как я жал на звонок, когда до этого Спенсера добрался. Весь заледенел. Уши болят, а пальцы почти и не шевелятся.

– Давай, давай, – говорю вслух; ну, почти, – открой же мне кто-нибудь *дверь*.

Наконец эта миссис Спенсер открыла. У них ни горничной не было, никак, двери они всегда сами открывали. Грошей у них немного.

² Энтони Уэйн (1745–1796) – американский генерал, прославился во время Войны за независимость и в конфликтах с индейцами, за храбрость получил прозвище «Бешеный Энтони».

– Холден! – говорит миссис Спенсер. – Как приятно тебя видеть! Заходи же, дорогой мой! Ты до смерти замерз?

Наверно, она мне обрадовалась. Я ей нравился. Или мне так кажется.

Ух как я рванул внутрь.

– Вы как, миссис Спенсер? – спрашиваю. – Как мистер Спенсер?

– Давай мне куртку, дорогой мой, – отвечает она. Не слышала, как я про мистера Спенсера спросил. Она как бы глуховата.

Повесила мою куртку в платяной шкаф, а я, с понтом, волосы пятерней себе пригладил. Я часто стригусь под ежик, причесывать там особо нечего.

– Как у вас дела, миссис Спенсер? – снова говорю я, только громче, чтоб услышала.

– Дела превосходно, Холден. – Она закрыла дверцу шкафа. – А как у *тебя*? – И по тому, как она это спросила, я понял: этот Спенсер ей рассказал, что меня выперли.

– Отлично, – говорю. – Как мистер Спенсер? Одолел уже свой грипп?

– Одолел! Холден, да он ведет себя, как совершенный... Я даже не знаю, *что*... Он у себя, дорогой мой. Ступай прямо к нему.

2

У них у каждого по своей комнате всяко-разно. Им обоим где-то под семьдесят, а то и за. Но им в жизни много чего зашибись – хоть у них и выходит как-то несуразно. Я знаю, погано так говорить, но я не хотел погано. Я в смысле, что об этом Спенсере нормально так много думал, а если думать о нем *слишком* много, непонятно, за каким хреном он вообще живет на свете. Ну то есть: весь скрюченный, осанки никакой, и если на уроке роняет мел у доски, кому-нибудь из первого ряда приходится вставать и ему поднимать. Жуть, по-моему. Но если думать о нем не *слишком*, а просто, выходит, что ему, в общем, в жилу. Например, как-то в воскресенье мы с парнями заходили к ним на горячий шоколад, он нам показал старое индейское одеяло, все тертое – они с миссис Спенсер купили его у какого-то навахо в Йеллоустонском парке. И по всему видать: этому Спенсеру покупать одеяло было зашибись. Я вот как раз о чем. Такое старичье, как Спенсер, – и ему зашибись покупать одеяло.

Дверь к нему была открыта, но я как бы все равно постукал – из вежливости и всяко-разно. Я видел, где он сидит. Сидел он в большом кожаном кресле, весь завернутый в это самое одеяло. Поднял голову, когда я постукал.

– Кто там? – орет. – Колфилд? Заходи, мальчик мой.

Если не на уроке, он всегда орет. Иногда действует на нер-

вы.

Едва я вошел, так сразу и пожалел, что вообще приперся. Он читал «Атлантик Мансли», везде валяются пилюли и лекарства, и все воняет «Виксом» – каплями в нос. Вполне себе тоска. Мне больные вообще не очень в струю. А еще тоскливей от того, что этот Спенсер сидел в халате, таком убогом и обтерханном, будто родился прямо в нем или как-то. Не сильно-то и в жилу смотреть на старичье в пижамах и халатах. Эти груди вечно трясутся. И ноги. У старичья на пляже и везде ноги всегда такие белые и лысые.

– Здравсьте, сэр, – говорю. – Я получил вашу записку. Большое спасибо. – Он же написал мне, чтоб я зашел попроситься до каникул, раз я больше не вернусь. – Не надо было, чего вы? Я бы все равно зашел.

– Садись сюда, мальчик мой, – говорит этот Спенсер. В смысле – на кровать.

Я сел.

– Как ваш грипп, сэр?

– Мальчик мой, да будь мне получше, врача вызывать надо было б. – Тут он развеселился. Закудахтал как ненормальный. Потом наконец взял себя в руки и говорит: – А почему ты не на стадионе? Мне казалось, сегодня главный матч.

– Ну да. Я там был. Только я из Нью-Йорка только что приехал с фехтовальной командой, – говорю. Ух у него кровать – как камень.

Тут он стал серьезный, как не знаю что. Я так и думал.

– Так ты, значит, нас покидаешь? – говорит.

– Да, сэр. Наверно.

Он давай себе кивать. Так никто никогда столько не кивает, как этот Спенсер. И никогда не знаешь, он столько кивает оттого, что всяко-разно думает, или просто потому, что путёвый такой дед, который жопу от локтя не отличит.

– И что тебе сказал доктор Тёрмер, мальчик мой? Я так понимаю, у вас с ним была беседа.

– Была. Еще какая. Часа два, наверно, у него в кабинете.

– И что он тебе сказал?

– Ой... ну, что Жизнь – игра и всяко-разно. И как играть в нее надо по правилам. Не, он нормально так излагал. Ни заводился, ничего. Только трындец, что Жизнь – игра, всяко-разно. Ну, в общем.

– Жизнь и *есть* игра, мальчик мой. Жизнь и *есть* игра, в которую играют по правилам.

– Да, сэр. Это я знаю. Знаю.

Хрен там игра. Аж два раза. Если ты на той стороне, где всякие ферты, тогда, конечно, игра – тут уж куда деваться. А если на *другую* сторону попадешь, где нет никаких фертов, так в чем же тут игра? Ни в чем. Никакой игры.

– Доктор Тёрмер уже написал твоим родителям? – спрашивает этот Спенсер.

– Сказал, в понедельник напишет.

– А ты сам им сообщал?

– Нет, сэр, ничего я им не сообщал, потому что в среду

вечером я уже домой приеду и, наверно, их увижу.

– И как, ты считаешь, они воспримут это известие?

– Ну... наверно, вполне себе разозлятся, – говорю. – Да еще как. Это ж у меня где-то четвертая школа. – Я покачал головой. Ею я неслабо много качаю. – Ух! – говорю. «Ух» я тоже неслабо много говорю. С одной стороны, у меня паршивый словарный запас, а с другой – потому, что иногда я веду себя слишком молодо для своих лет. Тогда мне было шестнадцать, теперь семнадцать, а веду я иногда себя так, будто мне тринадцать. Это вообще-то умора, потому что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, и я уже сесть начал. По-честному. На голове у меня с одной стороны – справа – просто мильон седых волос. У меня они с тех пор, как я совсем мелкий был. Но я все равно иногда себя веду так, словно мне лет двенадцать. Это все говорят, особенно мой штрик. С одной стороны так и есть, только не *совсем*. Часто думают, будто что-то *совсем* бывает. Мне надристать, вот только достает иногда, если мне говорят, чтоб вел себя как полагается. Иногда я веду себя старше, по-честному, только этого не замечают. Люди никогда ни шиша не замечают.

Этот Спенсер снова давай кивать. И в носу ковыряться. Сделал вид, будто пощипывает, а сам большой палец засунул. Наверно, решил, что можно, раз в комнате только я. Да мне *наплевать*, только смотреть, как кто-нибудь в носу ковырется, будь здоров отвратительно.

Потом говорит:

– Мне выпала честь познакомиться с твоими матерью и папой, когда они пару недель назад приезжали на беседу с доктором Тёрмером. Они славные люди.

– Да, ничего. Нормальные такие.

Славные. Вот еще какое слово я по-честному ненавижу. Фуфло. Как услышу, блевать тянет.

Тут вдруг этот Спенсер сел с таким видом, будто ему есть мне что сказать – очень хорошего, очень острого, как кнопка. Выпрямился в кресле и, с понтом, поерзал. Но – ложная тревога. Он только «Атлантик Мансли» с колен убрал и попробовал кинуть на кровать, рядом со мной. Но не докинул. До кровати пара дюймов, а все равно промазал. Я встал, подобрал и положил на кровать. И вдруг мне захотелось на фиг оттуда свалить. Я уже чувствовал – светит неслабая нотация. Оно бы, может, и ничего, да только мне совсем не в жилу слушать нотацию, нюхать закапку в нос, смотреть на этого Спенсера в пижаме и халате – и все одновременно. Как-то перебор.

Ну и началось, в общем.

– Что с тобой такое, мальчик мой? – говорит этот Спенсер. Вполне себе жестко так говорит – обычно он так не разговаривает. – Ты сколько предметов сдавал в этом семестре?

– Пять, сэр.

– Пять. А сколько завалил?

– Четыре. – Я немножко поерзал жопой на кровати. На таких твердых мне сидеть еще не доводилось. – Английский

я сдал нормально, – говорю, – потому что всяких «Беовульф» и «Лорд Рэндэл, мой сын»³ мы в Вутоне проходили. Ну то есть по английскому почти ничего делать и не надо было, только сочинения писать время от времени.

Он меня даже не слушал. Он вообще почти не слушает, когда ему что-то говоришь.

– Я провалил тебя по истории, потому что ты совсем ничего не знаешь.

– Я знаю, сэр. Ух как я знаю. Вы тут ни при чем.

– Совсем ничего, – повторяет он. От такого рехнуться можно. Когда вот так повторяют что-нибудь, в чем ты уже *признался*. А он – и в *третий* раз: – Совершенно ничего. Сомневаюсь, что ты хоть раз за семестр учебник открывал. Открывал? Скажи честно, мальчик мой.

– Ну, вроде как пару раз проглядывал, – отвечаю. Мне его жалко стало. Совсем спятил на своей истории.

– Проглядывал, значит, а? – говорит он, очень так язвительно. – Твоя... э-э, *экзаменационная* работа лежит вон там, у меня на шифоньерке. Сверху стопки. Принеси ее мне, будь добр.

Очень грязный трюк, но я сходил и принес – ни выбора не было, ничего. И снова сел на его цементную кровать. Ух, вы и представить себе не можете, как я жалел уже, что вообще

³ «Беовульф» – древний англосаксонский народно-героический эпос VII–VIII вв., дошел в рукописи X в., повествует о подвигах скандинавских героев VI в. «Лорд Рэндэл» – старинная шотландская баллада, записана на рубеже XVIII–XIX в. Пер. И. Ивановского.

к нему зашел.

Он держал мою работу, словно кашку или как-то.

– Древний Египет мы проходили с 4 ноября по 2 декабря, – говорит. – Ты *сам* выбрал его для экзаменационного сочинения на вольную тему. Хочешь послушать, что ты имел о нем сказать?

– Нет, сэр, не очень, – отвечаю.

Но он все равно прочитал. Учителя же не остановишь, если ему чего в голову взбредет. *Прет* и все.

Египтяне были древней нацией белых людей, которые жили в одной из северных частей Африки. Последняя, как всем нам известно, – крупнейший континент Восточного полушария.

Пришлось сидеть и *слушать* всю эту херню. Грязный трюк, точно вам говорю.

Нам сегодня египтяне очень интересны по разным причинам. Современной науке по-прежнему хочется знать, какие тайные компоненты египтяне подмешивали, когда заворачивали покойников так, чтобы лица у них не гнили бесчисленные века. Эта интересная загадка по-прежнему ставит в тупик современную науку в двадцатом веке.

Он умолк и отложил мою работу. Я уже начал его вроде

как ненавидеть.

– Твое, скажем так, сочинение на этом заканчивается, – говорит он тоже очень язвительно. И не ожидаешь, что такой дедан окажется всяко-разно язвой. – Однако ты внизу страницы приписал мне маленькое послание.

– Я помню, – говорю. Сказал быстро, чтоб он не успел прочесть вслух и *это*. Но его ж не остановишь. Запустился, что твой фейерверк.

Уважаемый мистер Спенсер [вслух прочел он]. Про египтян я больше ничего не знаю. По-моему, они меня не очень интересуют, хотя уроки у Вас очень увлекательные. Но я не против, чтобы Вы меня провалили, потому что я вообще все остальное заваливаю, кроме английского.

С уважением, Ваш *Холден Колфилд*.

Он опустил мою, на фиг, работу и посмотрел на меня так, словно только что раздраконил меня в пинг-понг всяко-разно. Я его, наверно, никогда не прощу, что он прочел эту херню вслух. Если б *он* ее написал, я бы не стал *ему* читать, почестному. Я вообще эту хренову записку ему написал, чтоб он не мучился, когда меня провалит.

– Мальчик мой, ты коришь меня за то, что я тебя провалил? – спрашивает он.

– Нет, сэр! Конечно, нет, – говорю. Хоть бы он перестал, на фиг, звать меня «мальчик мой» все время.

Закончив, он попробовал метнуть мою работу на кровать. Только опять, само собой, промазал. Мне снова пришлось вставать, подбирать ее и класть на «Атлантик Мансли». Достает *ужас*, когда надо это делать каждые две минуты.

– Как бы ты поступил на моем месте? – спрашивает он. – Скажи мне честно, мальчик мой?

Ну чего, видно же: ему вполне себе паршиво от того, что меня провалил. Поэтому я немного туфты ему погонял. Сказал, что я настоящая дубина, и всякую такую хреноту. Что на его месте я поступил бы точно так же, а большинству и невдомек, как трудно быть учителем. Такую вот фигню. Туфта проверенная.

Но вот умора – пока ему гонял все это, думал я вроде как о чем-то совсем другом. Живу я в Нью-Йорке, и думал я о пруде в Центральном парке, возле Южной Централ-Парк. Интересно, замерзнет он, когда я домой приеду, и если да, куда денутся утки? Интересно, куда вообще утки деваются, когда пруд весь перемерзает. Может, приезжает кто-нибудь на грузовике и забирает их в зоосад или как-то. А может, просто улетают.

Но мне везет. То есть, я могу этому Спенсеру гонять туфту и в то же время думать про уток. Умора. Когда с учителем говоришь, напрягаться и думать, в общем, не надо. И вдруг – гоню я, а он меня перебивает. Он же всегда перебивает.

– А тебе-то *каково*, мальчик мой? Вот что мне очень интересно знать. Очень интересно.

– В смысле – насчет выпуля из Пенси и всяко-разно? – говорю. Хоть бы он грудь эту свою вислую прикрыл. Не очень красивое зрелище.

– Если не ошибаюсь, у тебя были какие-то трудности и в Вутоне, и в Элктон-Хиллз. – Он это не просто язвительно сказал, а еще и как-то погано.

– В Элктон-Хиллз у меня особых трудностей не было, – говорю я. – Я там не провалил ничего, никак. Я вроде как бросил, сам.

– Почему, могу я спросить?

– Почему? Ой, это долгая история, сэр. То есть, ничего себе запутанная такая. – Не пускаться же мне с ним во все это, еще чего. Он бы все равно ни шиша не понял. Да и вообще не его это дело. Главная причина, почему я свалил из Элктон-Хиллз: меня там окружало сплошь фуфло. Вот и все. Из всех щелей оно там, на фиг, лезло. Взять директора, мистера Хааса – фуфловее гада я в жизни не встречал. В десять раз хуже этого Тёрмера. По воскресеньям, к примеру, этот Хаас расхаживал и жал руки всем штрикам, что в школу приезжали. Само обаяние, как я не знаю что, куда деваться. Если только у какого-нибудь пацана эти штрики не с каким-нибудь прибабахом. Вы б видели, как он с предками моего соседа по комнате обошелся. В смысле, если у пацана штруня какая-нибудь толстая, или на вид фофанская, или еще как-то, а штрик такие костюмы носит со здоровыми плечами и фофанские черно-белые ботинки, этот Хаас только руку им

жал да улыбался фуфлово, а потом шел и, может, полчаса трындел с чьими-нибудь другими предками. Я такую хреновенькую терпеть не могу. Хоть на стену лезь. Меня так пришибает, что я как с цепи срываюсь. Я Элктон-Хиллз, на фиг, ненавидел.

Этот Спенсер у меня еще чего-то спросил, но я не расслышал. Думал про этого Хааса.

– Чего, сэр? – говорю.

– Тебя что-нибудь *тревожит* от того, что ты уходишь из Пенси?

– Ой, ну кое-что тревожит, да. Конечно... только не слишком много. Пока, во всяком случае. Наверно, еще не осознал. Я вообще осознаю все через некоторое время. Я сейчас думаю про то, как в среду поеду домой. Я дубина.

– Мальчик мой, тебя совершенно не заботит твое будущее?

– Ой, ну конечно, мое будущее меня немножко заботит. Еще бы. Ну да, конечно. – Я целую минуту об этом думал. – Но, наверно, не слишком. Наверно, не слишком.

– А оно тебя *озаботит*, – говорит этот Спенсер. – Непременно, мальчик мой. Но тогда будет слишком поздно.

Фигово он это сказал. Точно я сдох или как-то. Очень тоскливо.

– Наверно, да, – говорю.

– Мне хотелось бы вправить тебе мозги, мальчик мой. Я пытаюсь тебе помочь. Я пытаюсь *помочь* тебе, если это в мо-

их силах.

И впрямь пытается. Это видно. Мы с ним просто слишком по разные концы дышла, вот и все.

– Я знаю, сэр, – говорю я. – Большое спасибо. Кроме шуток. Я вам благодарен. По-честному. – Тут я встал с кровати. Ну хоть убейте меня, а я б там и десяти минут больше не высидел. – Только штука в том, что мне уже пора. У меня куча всего в спортзале осталась, а мне это домой везти. Честно надо.

Он на меня поглядел и снова давай себе кивать, а лицо серьезное такое. Мне его жалко стало, как я не знаю что, – ни с того ни с сего. Но не могу ж я тут зависнуть, раз мы с ним по разные концы дышла, и он недобрасывает до кровати, если что-нибудь на нее кидает, и у него тоскливый халат, из которого грудь выглядывает, и гриппозная эта вонь от за-капки в нос повсюду.

– Сэр, послушайте. Вы за меня не бойтесь, – говорю. – Я не шучу. Все будет отлично. Просто у меня сейчас период такой. У всех периоды бывают всяко-разно, правда?

– Не знаю, мальчик мой. Не знаю. Терпеть не могу, когда так отвечают.

– Да точно. Точно бывает, – говорю. – Я не шучу, сэр. Не волнуйтесь за меня, пожалуйста. – И я как бы положил руку ему на плечо. – Ладно? – говорю.

– Не выпьешь горячего шоколаду перед уходом? Миссис Спенсер бы...

– Я б выпил, по-честному, но штука в том, что мне пора. Надо в спортзал бежать. Но спасибо. Большое спасибо, сэр.

И мы пожали друг другу руки. Такая вот херня. Но мне тоскливо стало, как я не знаю что.

– Я вам черкну, сэр. А вы разберитесь со своим гриппом.

– До свидания, мальчик мой.

Я как закрыл дверь, так и пошел сразу обратно в гостиную, а он еще заорал мне что-то, но я не очень расслышал. Наверняка что-нибудь вроде «Удачи!» Только надеюсь, что нет. Только, на фиг, не это. Я б никогда никому не орал «Удачи!» Жутко звучит, если вдуматься.

3

Я очень неслабо вру, вы такого в жизни не видели. Жуть. Если даже иду за журналом в магаз и кто-нибудь спросит, куда я намылился, я скорее всего отвечу, что иду в оперу. Страшное дело. Поэтому когда я сказал этому Спенсеру, что мне надо в спортзал за делами и всяко-разно, то были чистые враки. Не держу я ничего в спортзале.

В Пенси я жил в новой общаге, в крыле имени Оссенбергера. Там селят только младших и старших. Я был младшим. А в комнате со мной жил старший. Крыло назвали в честь этого Оссенбергера, который учился в Пенси. Доучившись, он сделал кучу грошей на похоронах. По всей стране наоткрывал бюро – там членов семьи можно было хоронить по пятерке за штуку. Вы б видели этого Оссенбергера. Он их, наверно, совал в мешок и в реку вываливал. Короче, Пенси он отслюнил кучу грошей, и в честь него назвали это наше крыло. На первый футбольный матч года он приехал в таком здоровенном, на фиг, «кадиллаке», а мы все на трибуне должны были встать и дать ему «паровозика» – это приветствие такое. На следующее утро в капелле он выдал нам речь – длиной в десять часов. Начал с полусотни фофанских анекдотов, только чтоб показать, какой он уматный парень. Что надо кипиш. Потом стал рассказывать, что, если у него неприятности или как-то, ему никогда не бывает стыд-

но пасть на колени и помолиться Богу. И нам говорит, чтоб всегда молились Богу – беседовали с Ним и всяко-разно, – где бы мы ни были. Говорит, считайте Иисуса всяко-разно своим корефаном. Говорит, *он* все время с Христом разговаривает. Даже когда за рулем. Я чуть не сдох. Так и вижу: здоровенный фуфловый гад переключается на первую и просит Боженку послать ему еще несколько жмуриков. Одна только хорошая фигня у него в середине речи была. Он нам рассказывал, какой он шикарный типус, какой ферт и всяко-разно, и тут этот парень, что сидел передо мной, Эдгар Марсалла, взял и так неслабо перднул. Очень дубово получилось – все-таки капелла и всяко-разно, но все равно хоть стой, хоть падай. Чуть, на фиг, крышу с капеллы не снесло. Почти никто вслух не засмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что даже не услышал, только этот Тёрмер, директор наш, рядом сидел за кафедрой и всяко-разно, – вот *он* точно все услышал, видно было. Ух как он рассвирепел. В тот раз ничего не сказал, а на следующий вечер собрал всех в аудиторию в главном корпусе, вышел вперед и толкнул речугу. Сказал, что мальчик, вызвавший нарушение порядка в капелле, недостоин учиться в Пенси. Мы хотели заставить этого Марсаллу выдать еще разок, прям пока Тёрмер триндит, да он был не в настроении. Ну, в общем, тут я и жил в Пенси. В крыле имени этого Оссенбергера, в новой общаге.

Когда я вернулся в комнату после этого Спенсера, там было путёво, потому что все еще были на стадионе, а внут-

ри для разнообразия включили тепло. Даже как-то уютно. Я снял куртку и галстук, расстегнул воротничок, а потом надел кепарь, который утром купил в Нью-Йорке. Такой красный охотничий, с сильно длинным козырьком. Я кепарь этот увидел в витрине спортивного магазина, когда мы из метро вышли – сразу после того, как понял, что забыл, на фиг, все рапиры. Всего зеленый стоил. Я его вот как надел: козырек этот сдвинул на самый затылок – очень фофански, куда деваться, но мне так в жилу. Я зашибись так выглядел. Потом взял книжку, которую читал, и сел в кресло. В каждой комнате их стояло по два. У меня одно и у моего соседа Уорда Стрэдлейтера одно. Ручки у них уже свое доживали, потому что на них всегда кто-нибудь садился, но кресла все равно были вполне удобные такие.

А читал я книжку, которую взял в библиотеке по ошибке. Мне дали не ту книжку, а я не заметил, пока к себе не вернулся. Мне дали «Из Африки» Исака Динесена⁴. Думал, дрянь, а вот нет. Очень хорошая книжка. Я нормально так безграмотный, но читаю много. Мой любимый автор – брательник мой Д.Б., а за ним идет Ринг Ларднер⁵. Мне Ринга Ларднера на деньрож брательник подарил, перед тем, как я в

⁴ Исаак (Айзек) Динесен – псевдоним датской писательницы баронессы Карен фон Бликсен-Финеке (1885–1962). «Из Африки» – ее автобиографический роман (1937).

⁵ Рингголд Уилмер Ларднер (1885–1933) – американский спортивный обозреватель и писатель-сатирик. Ниже упоминается его рассказ «Бывают такие улыбки» («There are Smiles», 1928).

Пенси уехал. Там такие забавные долбанутые пьески, а один рассказ – про дорожного фараона, он еще сохнет по этой девке, которая все время скорость превышает. Только фараон женат, поэтому жениться на ней все равно не может никак. А девка потом убивается, потому что все время превышает скорость. Я от этого рассказа чуть не сдох. Мне в книжках вообще нравится, если там хоть иногда бывает смешно. Классики я тоже кучу целую читал, вроде «Возвращения на родину»⁶ и всяко-разно, и мне нравится, а еще кучу книжек про войну и детективов, но мне они не сильно в жилу. Мне такие книжки в жилу, какие всю прочтешь – и жалеешь, что автор тебе не дружан неслабый и ему нельзя позвонить, когда захочется. Но такое нечасто бывает. Хотя этой Исаку Динесену я бы позвонил. И Рингу Ларднеру – только Д.Б. говорит, он уже умер. А взять, скажем, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма⁷. Я ее прошлым летом читал. Будь здоров книжка и всяко-разно, но вот Сомерсету Моэму звонить как-то не в струю. Не такой он парень, чтоб ему звонить, только и всего. Я б лучше Томасу Харди позвонил. Путьевая у него эта Юстасия Вай.

В общем, нацепил я свой новый кепарь и сел читать эту книжку «Из Африки». Я ее уже читал, но какие-то части хо-

⁶ «Возвращение на родину» (1878) – роман английского писателя Томаса Харди (1840–1928).

⁷ Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) – английский писатель. Его роман «Бремя страстей человеческих» опубликован в 1915 г.

тел еще раз. Только успел страницы три, и тут слышу, через шторы ванной кто-то идет. Даже не глядя, сразу понял, кто. Роберт Экли, этот парень, что живет рядом. В нашем крыле между каждой парой комнат есть душ, и по восемьдесят пять раз на дню этот Экли ко мне врывается. Он, наверно, один во всей общаге, кроме меня, на футбол не пошел. Он, считай, вообще никуда не ходит. С прибабахом парень. Он старший, в Пенси уже четыре года и всяко-разно, но его все только «Экли» и зовут. Даже Херб Гэйл, сосед его по комнате, никогда не зовет его «Боб» – и даже «Эк» не зовет. Если он когда-нибудь женится, наверно, и жена будет звать его «Экли». Он такой дылда, плечи покатые – росту в нем где-то шесть и четыре, – и с паршивыми зубами. Все время, пока он рядом жил, я ни разу не видел, чтоб он их чистил. Они у него вечно как мхом поросли, жуть, в общем, и на него глянешь, на фиг, в столовой – сразу блевать тянет: пасть набита пюре с горошком или еще как-то. А кроме того, он прыщавый. Не только на лбу и подбородке, как у многих парней, а по всей роже. Мало того – у него еще и характер жуткий. Мерзкий, в общем, парняга. Мне он, сказать вам правду, не очень в жилу.

Я чувствовал, как он стоит на порожке душа прямо за моим креслом – заглядывает, дома ли Стрэдлейтер. Стрэдлейтера он терпеть не может и в комнату никогда не заходит, если тот дома. Он, на фиг, вообще никого терпеть не может. Вот он сосупил с порожка и вошел в комнату.

– Здорово, – говорит. Он это всегда говорит так, точно ему неслабо скучно или он неслабо устал. Не дай боже подумаешь, будто он к тебе в гости зашел или как-то. Уж лучше пускай думают, что он заглянул по ошибке, ёксель-моксель. – Здорово, – говорит, но я от книжки даже не оторвался. С таким, как Экли, от книжки оторвешься – и капец. Тебе полюбому капец, но хоть не так быстро.

Он давай по комнате мотыляться – очень медленно и всяко-разно, он вечно так делает, берет вещи со стола и шифоньерки. Всегда берет твои вещи и ну разглядывать. Ух как он иногда на нервы действует.

– Как сражнулись? – спрашивает. Ему просто хотелось, чтоб я бросил читать, раз видит, что мне зашибись. На фехтование ему надристать. – Мы выиграли или как?

– Никто не выиграл, – говорю я. Но не отрываясь от книжки.

– Чего? – говорит. Он вечно заставляет повторять ему все дважды.

– Никто не выиграл, – говорю. А сам косяка даванул, как он у меня по шифоньерке шарится. Он как раз пялился на фотку той девчонки, с которой я в Нью-Йорке ходил, Сэлли Хейз. Как я фотку, на фиг, себе завел, он ее, наверно, уже пять тыщ раз брал и пялился. И, закончив, всегда не туда ставил. Это он спецом. Точняк.

– Никто не выиграл? – говорит. – Это как?

– Я, на фиг, папиры и все дела в метро забыл. – Я на него

по-прежнему не смотрел.

– В метро, елки-палки! Ты их *потерял*, то есть?

– Мы сели не в то метро. Надо было вставать все время, по карте, на фиг, смотреть на стенке.

Он подошел и загородил мне весь свет.

– Эй, – говорю, – ты пришел, и я одну фразу уже двадцать раз читаю.

Любой, кроме Экли, намек бы понял. А он – дулю там.

– И чего, тебя за них платить заставят? – говорит.

– Фиг знает, да и надристать. Сынок, ты бы *сел* или как-то, что ли? Ты мне, на фиг, свет загораживаешь. – Ему не нравится, если его зовут «сынком». Он мне всегда трындел, что сынок тут, на фиг, я, потому что мне шестнадцать, а ему восемнадцать. Он просто с цепи срывался, когда я звал его «сынком».

Он не сдвинулся. Вот *точно* такие и не отходят от света, когда попросишь. Он, конечно, *отойдет*, но не сразу, не когда *просишь*.

– Ты чего это читаешь? – говорит.

– Книжку, на фиг.

Он ее пихнул, чтоб посмотреть название.

– Хорошая? – спрашивает.

– Та *фраза*, которую я читаю, – просто зашибись. – Я тоже бываю язва будь здоров, когда стих найдет. Только он ни шиша не понял. Опять начал по комнате шибаться, вещи брать – и мои, и Стрэдлейтера. Наконец я книгу на пол отложил.

С такими, как Экли, ни фи́га не считаешь. Невозможно.

Я по креслу вниз немножко сполз и гляжу, как Экли у меня устраивается. Я вроде как утомился от поездки в Нью-Йорк и всяко-разно, зевать начал. Потом стал немножко валять дурака. Иногда я нормально так валяю дурака – ну, чтоб ничего не доставало. Я вот чего – я передвинул этот козырек у кепаря вперед и натянул на самые глаза. Так мне, на фиг, ни шиша видно не стало.

– По-моему, я слепну, – говорю, так сипло-сипло. – Миленькая мамочка, здесь все так *темно*.

– Во чеканутый. Ей-богу, – говорит Экли.

– Миленькая мамочка, дай *руку*. Ну что, тебе *руку* трудно дать?

– Елки-палки, дитя малое.

Я начал шариться перед собой, будто ослеп, только ни вставал, ничего. И талдычу:

– Миленькая мамочка, ну что, тебе *руку* мне трудно дать?

Само собой, я просто дурака валял. Мне такое иногда зашибись. А потом – этого Экли такое достает, как я не знаю что. От него во мне всегда садист такой просыпается. Я его вполне себе часто садирую. Но тут я в конце концов бросил. Сдвинул козырек опять на затылок и расслабился.

– Это чье? – спрашивает Экли. И показывает мне наколенник соседа. Этот тип *любую* хрень подбирает. Даже бандаж или как-то. Я сказал, что Стрэдлейтера. И Экли кинул его на кровать Стрэдлейтеру. Взял с его *шифоньерки*, поэто-

му кинул на *кровать*.

Затем подошел и сел на ручку Стрэдлейтерова кресла. В *само* кресло он никогда не садится. Только на ручку.

– Ты где эту хрень надыбал? – И на кепарь показывает.

– В Нью-Йорке.

– Сколько?

– Зеленый.

– Грабеж. – Тут он спичкой ногти начал себе чистить. Экли все время ногти чистит. Даже как-то умат. Зубы у него словно мхом поросли, уши грязные, как не знаю что, а вот ногти он всегда чистит. Наверно, считает, что от этого будет *четким* парнем. И за чисткой еще раз поглядел на мой кепарь. – Елки-палки, да мы в таких дома стрелять оленей ходим, – говорит. – В такой только оленей стреляют.

– Фиг там. – Я снял кепарь и посмотрел. И как бы глаз прижмурил, будто целюсь. – В таком стреляют людей, – говорю. – Я в этом кепаре людей стреляю.

– А предки знают, что тебя выперли?

– Не-а.

– А где вообще этот Стрэдлейтер шляется?

– На стадионе. У него свиданка. – Я зевнул. Зевал я прям на всю комнату. Во-первых, потому что, на фиг, жара. А от нее спать хочется. В Пенси либо дубак смертельный, либодохнешь от жары.

– Уматный Стрэдлейтер, – говорит Экли. – ...Слышь. А дай-ка мне ножницы на секундочку, есть? Где-нибудь под ру-

кой?

– Нету. Я уже все сложил. В шкафу наверху.

– Ну достань на секундочку, чего ты? – говорит Экли. – Мне тут заусенец отрезать надо.

Ему наплевать, сложил ты уже что-то или нет, и лежит ли оно у тебя в шкафу на самом верху. Но я ему ножницы достал. Чуть не сдох к тому же, доставая. Только открыл дверцу шкафа, как мне на голову свалилась Стрэдлейтерова теннисная ракетка – вместе с деревянным зажимом и всяко-разно. *Тюкнула* громко, и больно было, как я не знаю что. Этот Экли чуть не сдох. Заржал этим своим пронзительным фальцетом. И ржал всю дорогу, пока я стаскивал вниз чемодан и доставал ему ножницы. Такая вот фигня – парня по башке камень шарашит или как-то – Экли веселила до уссачки.

– У тебя, на фиг, отличное чувство юмора, сынок, – говорю я. – Тебе это известно? Давай я буду твоим импресарио. Я тебя, на фиг, на радио протащу. – И я снова сел в кресло, а он давай себе эти неслабые ногти стричь, на копыта похожие. – Может, над столом хоть, а? – говорю. – Над столом давай стриги. Не в жилик тут по твоим захезанным ногтям босиком вечером ходить.

Только он все равно на пол стриг. Паршивые у него манеры. Без балды.

– А с кем у Стрэдлейтера свиданка? – спрашивает. Он вечно фараонит, за кем ухлестывает Стрэдлейтер, хоть самого Стрэдлейтера и терпеть не может.

– Фиг знает. А чего?

– Да ничего. Я эту падлу просто не перевариваю. Вот уж падла так падла, не перевариваю таких.

– А *он* по тебе с ума сходит. Говорил, что ты, на фиг, просто принц сказочный, – говорю я. Я неслабо так часто обзываюсь «принцем», когда валяю дурака. Чтоб не доставало, ни чего.

– Он все время такой надменный, – говорит Экли. – Не перевариваю эту падлу. Он, можно подумать...

– Ты не будешь добр ногти стричь над *столом*, а? – говорю. – Я ж тебя уже пятьдесят...

– Он, на фиг, все время такой надменный, – говорит. – Мне даже кажется, что у этой падлы и мозгов никаких нет. Он только *думает*, что есть. Думает, он чуть ли не самый...

– Экли! Ну ёксель-моксель. Не будешь ли *добр* стричь свои захезанные ногти над столом? Я тебя пятьдесят раз уже попросил.

И он для разнообразия стал стричь их над столом. Делает что-нибудь, только если на него наорешь.

Я какое-то время на него смотрел. Потом говорю:

– Ты на Стрэдлейтера злишься потому, что он как-то ляпнул, дескать, тебе иногда не мешало бы зубы чистить. Он же не хотел тебя оскорбить, ну сколько можно? *Ляпнул* он не так или что-то, но ничего обидного не хотел. Он только хотел сказать, что лучше будет и *тебе*, и другим, если ты хоть иногда станешь чистить зубы.

– Я чищу зубы. *Хватит* уже.

– Ни фига не чистишь. Я видел – не чистишь, – говорю. Но не поганно сказал. Мне его стало как бы жалко. Ну то есть само собой, это ж не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы. – Нормальный Стрэдлейтер. Он ничего, – говорю. – Ты его не знаешь, вот в чем засада.

– А по-моему, все равно падла. Напыщенная падла.

– Напыщенный – да, но в других делах – очень душевный. Точняк, – говорю. – Ну смотри. Предположим, например, что у Стрэдлейтера есть такой галстук или как-то, и он тебе понравился. Скажем, носит он галстук, который тебе нравится, как не знаю что, – это я тебе пример даю просто. Знаешь, что он сделает? Он, наверно, его снимет и подарит тебе. По-честному. Или еще знаешь? Он его просто у тебя на кровати оставит, например. Но этот, на фиг, галстук, он тебе *отдаст*. А другие парни, наверно...

– *Черт*, – говорит Экли. – Будь у меня столько деньжищ, я б тоже.

– Не, ты б не стал. – Я покачал головой. – Ты бы не стал, сынок. Будь у тебя столько деньжищ, ты был бы величайший...

– Хватить звать меня «сынком», черт бы тебя драл. Да я тебе, паршивцу, в штрики гожусь.

– Не годишься. – Ух какой он бывает иногда зануда. Ни за что не упустит шанса напомнить, что тебе шестнадцать, а ему восемнадцать. – Во-первых, я тебя, на фиг, к себе в

семью не пущу...

– Ну и хватит меня тогда обзывать...

Тут дверь вдруг распахивается и влетает этот Стрэдлейтер – впопыхах. Он вечно впопыхах. У него всегда кипиш. Подскочил ко мне и так игриво, как не знаю что, шлепнул по щекам – а такое иногда жутко доканывает.

– Слышь, – говорит, – ты куда-нибудь вечером намыливаешься?

– Фиг знает. Можно. А чего такое – снег идет? – У него все пальто в снегу было.

– Ага. Слышь. Если ты никуда не намылился, дал бы мне клетчатый пидж поносить, что ли?

– Кто выиграл? – спрашиваю.

– Еще полматча. Мы сваливаем, – говорит Стрэдлейтер. – Кроме шуток, ты будешь клетчатый сегодня надевать? Я на свой серый фланелевый какую-то срань вылил.

– Нет, но фигня будет, если ты его своими плечищами растянешь, – говорю. Рост у нас где-то один, а весит он, считай, вдвое больше. И у него очень широкие плечи.

– Не растяну. – И он впопыхах кинулся к шкафу. – Как оно, Экли? – говорит. Парень он ничего так дружелюбный, этот Стрэдлейтер. Дружелюбие у него, правда, отчасти фуфловое, но он, по крайней мере, с Экли всегда здороваётся и всяко-разно.

Экли на это «как оно» только, с понтом, хрюкнул. *Отвечать* ему, видите ли, невпротык, а по крайней мере не хрю-

кать – кишка тонка. Потом говорит мне:

– Я, наверно, пойду. Увидимся.

– Ладно, – отвечаю. Когда он к себе отчаливал, сердце вообще-то кровью не обливалось.

Тут этот Стрэдлейтер начал снимать пальто, галстук и всяко-разно.

– Я, наверно, побреюсь наскоряк, – говорит. Щетина у него вполне себе густая. А то.

– Где свиданка? – спрашиваю.

– Она меня во Флигеле ждет. – И он вышел из комнаты с несессером и полотенцем под мышкой. Ни рубашки, ни шиша. Он всегда с голым пузом ходит – считает, что у него офицерское сложение. Это вообще правда. Куда деваться.

4

Мне особо делать было нечего, поэтому я тоже пошел в тубзо и мы там потрындели, пока Стрэдлейтер брился. В тубзе мы были одни, потому что все еще не вернулись со стадиона. Там жара стояла, как я не знаю что, все окна запотели. В тубзе с десяток раковин, все вдоль стены. Стрэдлейтер занял ту, что посередке. Я сел на ту, что рядом, и давай крутить холодный кран туда-сюда – есть у меня такая дерганая привычка. Стрэдлейтер же, пока брился, свистел «Песню об Индии»⁸. Свистит он эдак пронзительно, почти никогда не попадает, а песни всегда выбирает такие, которые свистеть трудно, даже если ты *зашибись* какой свистун, вроде этой «Песни об Индии» или «Бойни на Десятой авеню»⁹. Обдристать песню ему – раз плюнуть.

Помните, я говорил, что Экли по всем привычкам своим халда? Стрэдлейтер, в общем, тоже, только по-другому. Он больше тайная халда такая. *Выглядит-то* он всегда путёво, этот Стрэдлейтер, но, к примеру, поглядеть на лезвие, кото-

⁸ «Песней об Индии» в США обычно называют арию индийского гостя из оперы русского композитора Н.А. Римского-Корсакова (1844–1908) «Садко» (либретто Римского-Корсакова и В. Вельского, 1898).

⁹ «Бойня на Десятой авеню» – балет американского композитора Ричарда Роджерса (1902–1979), поставленный Джорджем Баланчиным для музыкальной комедии «На цыпочках» (1936).

рым он бреется. Всегда ржавое, как я не знаю что, волосы налипли, пена и прочая херня. Он его никогда ни мыл, ничего. Вот *выглядел* он всегда уматно, когда заканчивал себе перышки чистить, но все равно он тайная халда – знали бы его так же, как я. А перышки он себе чистил, чтоб выглядеть уматно, потому что сох по себе до безумия. Считал себя самым большим симпатягой во всем Западном полушарии. Нет, он *ничего* так симпатяга – тут уж никуда не денешься. Но он скорее такой симпатяга, про которого штрики ваши, если увидят его фотку в выпускном альбоме, сразу спрашивают: «А *это* что за мальчик?» То есть главным образом альбомный такой симпатяга. Я в Пенси много парней знал, которые, по-моему, гораздо симпатичней Стрэдлейтера, но в выпускном альбоме ни фи́га они не симпатные. Там у них здоровенные шнобели или уши торчком. Со мной так часто бывало.

Ладно, в общем, я сидел на раковине рядом с той, у которой брился Стрэдлейтер, и, с понтom, воду включал и выключал. Красный охотничий кепарь я не снял – козырьком назад и всяко-разно. Зашибись у меня шапчонка.

– Эй, – говорит Стрэдлейтер. – Хочешь мне большой добряк сделать?

– Чего? – отвечаю. Не очень пылко. Он вечно просит сделать ему какой-нибудь большой добряк. Возьмите любого симпатягу, да любого, кто себя таким фертом считает, – и они вечно просят сделать им большой добряк. Только пото-

му, что *сами* по себе так сохнут, они думают, что и *ты* по ним сохнешь и сдохнуть как хочешь им сделать добряк. Вроде как умора даже в каком-то смысле.

– Ты вечером идешь куда-нибудь? – говорит.

– Можно. А можно и нет. Фиг знает. А чего?

– Мне к понедельнику надо сто страниц по истории прочитать, – говорит он. – Как насчет накатать за меня сочинение по английскому? А если я эту хрень к понедельнику не сделаю, я в говне по шею, потому и спрашиваю. Как насчет?

Вот так насмешка судьбы. Куда деваться.

– *Меня*, значит, отсюда вышибают, на фиг, а *ты* меня прошишь, на фиг, сочинение написать, – говорю я.

– Ага, я знаю. Только такая фигня – я в говне по шею, если не сдам. Будь корешем. Будь корефаном. Лады?

Сразу я ему не ответил. Время потянуть – это полезно для всяких гадов вроде Стрэдлейтера.

– Про чего? – спрашиваю.

– Чего угодно. Чего угодно наглядное описать надо. Комнату. Или дом. Или где жил, или еще чего-нибудь – ну, в *общем*. Только чтоб наглядное было, как хрен знает что. – Говоря это, он нехило зевал. А мне будто за шкуру сало заливают от такого. Ну, то есть просят тебя, на фиг, им добряк сделать, а сами *зевают*. – Только не *сильно* гладко пиши, вот и все, – говорит. – Этот падла Харцелл считает же тебя шишкой по английскому и знает, что мы в одной комнате живем. В смысле, не все запятые там втыкай на место – ну ты понял.

От такого мне тоже будто салом за шкуру. Я к тому, что ты уматно сочинения пишешь, а тебе про запятые втирают. Стрэдлейтер всегда так делает. Чтоб думали, будто *он* сочинения пишет паршиво только потому, что запятые не туда сует. В этом смысле он слегонца похож на Экли. Я однажды сидел рядом с Экли на баскетболе. У нас зашибись парень в команде был, Хауи Койл, закладывал в корзину с середины площадки, ни щита даже не касался, ничего. И Экли всю, на фиг, игру талдычил, что у Койла – идеальное для баскетбола *телосложение*. Господи, как же я эту бодягу ненавижу.

Немного погодя меня достало сидеть на раковине, поэтому я на пару шагов отвалил и стал чечетку бить – просто от не фиг делать. Развлекался и все. Вообще-то я ни чечетку танцевать не умею, ничего, но в тубзе пол каменный, на нем чечетку неслабо бить. Я давай себе изображать этих, из кино. Из *мюзиклов*. Кино я ненавижу пуще яда, а вот изображать мне зашибись. А этот Стрэдлейтер на меня в зеркало смотрел, пока брился. Мне же только публику подавай. Такой вот я показушник.

– Я сын губернатора, на фиг, – говорю. Во я старался. По всему тубзу чечетку бил. – Он не хочет, чтоб я стал чечеточником. Он хочет, чтоб я в Оксфорд поступил. Но чечетка у меня, на фиг, в крови. – Этот Стрэдлейтер ну давай ржать. С чувством юмора у него порядок вообще-то. – Сегодня у «Причуд Зигфелда»¹⁰ премьера. – У меня уже дышалка сби-

¹⁰ «Причуды Зигфелда» – музыкальное шоу-ревию американского импресарио

лась. Вообще ни шиша не осталось. – Солист уже не может. Нажрался, как последняя сволочь. Так кого же возьмут на его место? Меня, вот кого. Малютку, на фиг, губернаторова сынка.

– Ты где это нарыл? – спрашивает Стрэдлейтер. Это он про мой кепарь. До того и не видел его вообще.

У меня все равно дышалка сдохла, поэтому я перестал валять дурака. Снял кепарь и оглядел его раз, наверно, в девяностый.

– Утром в Нью-Йорке. За один зеленый. Нравится? Стрэдлейтер кивнул.

– Четкая, – говорит. Но это он мне польстил, потому что сразу же и говорит: – Слышь. Так ты напишешь мне сочинение? Мне надо знать.

– Если будет время, напишу. Если не будет, не напишу, – говорю. Потом я подошел и снова сел на раковину рядом. – А с кем свиданка? – спрашиваю. – С Фицджералд?

– Ох, нет! Я ж тебе говорил, у меня с этой свиньей все.

– Да ну? Так отдай ее мне, старина. Без балды. Она моего типа.

– Бери... Она для тебя слишком старая.

Тут вдруг – ни с того ни с сего, по-честному, ну только разве что на меня опять стих напал повалить дурака, – мне захотелось спрыгнуть с раковины и замесить этого Стрэдлейтера полунельсоном. Это борцовский захват такой, вдруг вы

не знаете: хватаешь человека за шею и душишь до смерти, если охота. Так я и сделал. Я на него кинулся, как пантера.

– Кончай, Холден, язви тебя! – орет Стрэдлейтер. Ему дурака валять не хотелось. Он брился и всяко-разно. – Ты чего хочешь – чтоб я башку себе отчищал?

Но я его не отпустил. Зашибись у меня полунельсон получился.

– Освободись из тисков моего захвата, – говорю.

– Гос-споди *боже* мой. – Он отложил бритву и дернул вдруг руками вверх – как бы сломал мне хватку. Крепкий он парень. А я слабак. – Ладно, кончай эту бодягу, – говорит. И снова давай бриться. Он всегда бреется дважды, чтоб роскошно выглядеть. Этой своей захезанной бритвой.

– Так с кем у тебя свиданка, если не с Фицджералд? – спрашиваю. Я опять сел на раковину возле него. – С этой лапусей Филлис Смит?

– Нет. Должно было с ней, но мы все просрали. У меня теперь соседка девчонки Вада Тоу... Эй. Чуть не забыл. Она *тебя* знает.

– Кто? – спрашиваю.

– С кем у меня свиданка.

– Во как? – говорю. – Как ее звать? – Я неслабо так заинтересовался.

– Счас вспомню... Э-э. Джин Гэллахер.

Ух, я чуть *замертво* на пол не шмякнулся, когда он это сказал.

– Джейн Гэллахер, – говорю. Я даже с раковины поднялся, когда он ее назвал. Чуть, на фиг, не сдох на месте. – Ну еще б я ее, на фиг, не знал. Да она, считай, под *боком* у меня жила позапрошлым летом. У нее еще такой здоровенный, на фиг, доберман-пинчер. Так мы с ней и познакомились. Ее собака все время приходила к нам во...

– Холден, ты мне свет загородил, язви тебя, – говорит Стрэдлейтер. – Вот тебе надо тут стоять?

Ух как меня разгоношило. Куда деваться.

– Где она? – спрашиваю. – Надо пойти с ней поздороваться или как-то. Где она? Во Флигеле?

– Ну.

– А как она про меня вспомнила? Она теперь в Б.М. ходит? Она говорила, что туда, наверно, пойдет. Но и в Шипли, говорила, тоже. Я думал, она в Шипли пошла. Как она про меня вспомнила? – Меня вполне себе разгоношило. Почестному.

– Да не знаю, язви тебя. Подвинься, а? Ты на моем полотенце, – говорит Стрэдлейтер. Я сидел на его дурацком полотенце.

– Джейн Гэллахер, – говорю. Никак не мог опомниться. – Святый милостивый боже.

А этот Стрэдлейтер давай себе «виталисом» волосы мазать. *Моим* «виталисом».

– Она танцует, – говорю. – Балет и всяко-разно. Раньше репетировала часа по два каждый день, прямо в самую жару

всяко-разно. Боялась, что у нее от этого ноги паршивые будут – толстые и всяко-разно. А я с ней в шашки все время играл.

– Во *что* ты с ней все время играл?

– В шашки.

– *Шашки*, язви тебя!

– Ну. Она своими дамками ходить никак не хотела. Как делала – проходит в дамки, а потом этой дамкой не двигает. Оставляет в задней линии. И так вот всех по задней линии и выстраивала. И никогда ими не ходила. Ей просто нравилось, как они все смотрятся в задней линии.

Стрэдлейтер ничего не сказал. Такая хрень почти никого не интересует.

– Ее штруня в тот же клуб ходила, что и мы, – говорю. – Я там клюшки подносил время от времени, грошей заработать. И пару раз ее штруне подносил. Она где-то сто семьдесят набирала на девять лунок.

Стрэдлейтер меня почти не слушал. Все прилизывал свои роскошные локоны.

– Надо хоть пойти с ней поздороваться, – говорю.

– Ну сходи.

– И схожу, погоди вот.

Он снова начал пробор себе делать. Чтобы причесаться, у него где-то час уходит.

– Ее штрики развелись. Мамаша потом опять вышла за какого-то кирюху, – говорю я. – Задохлик такой, ноги воло-

сатые. Я его помню. Все время шорты носил. Джейн говорила, он какой-то, на фиг, драматург или как-то, но я только видел, как он киряет все время да по радио ни одной, на фиг, детективной передачи не пропускает. И еще он по дому голый бегал. А там *Джейн* и всяко-разно.

– Да ну? – говорит Стрэдлейтер. Вот это его вставило. Про кирюху, который голый по дому бегаёт, а там Джейн. Стрэдлейтер – он очень озабоченный гад.

– Паршивое у нее было детство. Без балды.

А вот это его уже не заинтересовало. Ему б только помацать кого.

– Джейн Гэллахер. Бож-же. – Я не мог выкинуть ее из головы. По-честному не мог. – Надо сходить поздороваться с ней, по крайней мере.

– Ну а чего ж, на фиг, тогда не сходишь, а только трындишь? – говорит Стрэдлейтер.

Я подошел к окну, но там фиг чего увидишь, так оно все запотело от жары в тубзе.

– Я сейчас не в настроении, – говорю. Я в нем и не был. Для такого настроение нужно. – Я думал, она в Шипли пошла. Я бы зуб дал, что она пошла в Шипли. – Я немного походил по тубзу. Мне больше нечего было делать. – А ей футбол понравился?

– Ну да, наверно. Фиг знает.

– А она тебе говорила, что мы раньше все время в шашки играли, или как-то?

– Да не знаю я. Язви тебя, я ж с ней только *познакомил-ся*, – говорит Стрэдлейтер. Он наконец дочесал свои, на фиг, роскошные локоны. И теперь убирал в несессер эти захезанные приبلуды.

– Слышь. Ты ей привет передай, а?

– Лады, – говорит Стрэдлейтер, но я знал – ни шиша он, наверно, не передаст. Такие никогда приветы никому не передают.

Он вернулся в комнату, а я еще в тубзе немного поваландался, подумал об этой Джейн. Потом тоже двинул в комнату.

Стрэдлейтер как раз надевал галстук перед зеркалом, когда я зашел. Он половину жизни, на фиг, проводит перед зеркалом. Я сел в кресло и вроде как еще понаблюдал.

– Эй, – говорю потом. – Только не ляпни ей, что меня выперли, ладно?

– Лады.

Вот что в Стрэдлейтере хорошо. Ему, на фиг, не нужно всякую мелкую хреноту объяснять, как Экли. Главным образом, наверно, потому, что ему неинтересно. Вот почему, если по-честному. У Экли же все иначе. Экли – очень пронырливый гад.

Стрэдлейтер надел мой пидж в мелкую клетку.

– Ёксель-моксель, ты хоть постарайся его не растягивать, – говорю. Я его только пару раз надевал.

– Не буду. Где, на фиг, мои сиги?

– На столе. – Он никогда не помнит, куда, на фиг, все кладет. – Под кашне.

И он положил их в карман – ко *мне* в карман.

Я вдруг – для разнообразия – передвинул кепарь вперед козырьком. Мне вдруг ни с того ни с сего стало как-то дерганно. Я ж вообще дерганый.

– Слышь, а куда вы с ней на свиданку двигаете? – спрашиваю. – Ты уже прикинул?

– Фиг знает. В Нью-Йорк, если время будет. Она только до полдесятого отпросилась, язви ее.

Фигово он это сказал, поэтому я ему:

– Это она потому, что просто не знала, какой ты симпатный очаровашка, гад. А если б *знала*, отпросилась бы до полдесятого *утра*.

– Правильно, на фиг, – говорит Стрэдлейтер. Его так просто не допечь. Слишком самонадеянный. – Ладно, без шуток. Напиши мне сочинение, – говорит. Он уже и пальто надел, совсем к выходу намылился. – Сильно не напрягайся, просто чтоб наглядное было, как не знаю что. Лады?

Я ему не ответил. Не хотелось. Я только сказал:

– Спроси, она так же дамок на задней линии держит?

– Лады, – говорит Стрэдлейтер, но я знал – ни шиша он не спросит. – А ты не напрягайся. – И он с грохотом отвалил на фиг.

После его ухода я где-то с полчаса посидел. То есть просто сидел в кресле, ни фига не делал. Думал про Джейн, как у

Стрэдлейтера с ней свиданка и всяко-разно. Так дергался, что чуть не спятил. Я уже говорил вам, какой Стрэдлейтер озабоченный гад.

Тут вдруг Экли снова в комнату врывается через эти, на фиг, шторы душевые, как обычно. Я в кои-то свои дурацкие веки по-честному рад был его видеть. Хоть отвлек меня от этой бодяги всей.

Он мотылялся по комнате где-то до ужина, трындел про всех в Пенси, кого он терпеть не может, да еще неслабый прыщ на подбородке выдавливал. Даже платок не достал. Думаю, у этого гада и платков-то не водится, если вам правду сказать. Я у него их по-любому ни разу не видел.

5

В субботу по вечерам в Пенси кормили одним и тем же. Как бы кипиш страшный, потому что давали бифштекс. На тыщу спорим, они так делали потому, что у многих парней штрики по воскресеньям в школу приезжают, и этот Тёрмер, наверно, прикинул: всякая штруня своего дорогушу станет допрашивать, что это он кушал вчера на ужин, и он ей скажет: «Бифштекс». Куда деваться. Видали б вы эти бифштексы. Такие сухие козявки, даже не разрежешь. По таким вечерам к бифштексам всегда давали комки пюре, а на десерт – «Румяную Бетти»¹¹, которую никто не ел, кроме разве что малявок из начальной школы, которые ни шиша не смыслят, да каких-нибудь Экли, которые *всё* сожрут.

Хотя когда мы вышли из столовки, было вроде ничего. Снега напало дюйма на три, и он еще сыпался, прямо как ненормальный. Красиво, как не знаю что, мы все стали кидаться снежками и вообще валять дурака. Детский сад, но всем зашибись.

У меня ни свиданки не было, ничего, поэтому мы с этим моим корефаном, Мэлом Броссаром, он еще в борцовской

¹¹ «Румяная Бетти» – американское название яблочного пудинга, запеканки или шарлотки в сухарях. В Англии рецепт «Бетти» был впервые опубликован в 1864 г., американцы же, перепечатав его в 1890-м, сделали определение «румяный» частью имени собственного.

команде, решили прокатиться на автобусе в Эйджерстаун, зачистить по гамбургеру и, может, кинцо какое паршивое позырить. Ни ему, ни мне на жопе весь вечер сидеть не хотелось. Я спросил Мэла, не против ли он, если мы с собой прихватим Экли. Я чего спросил – Экли ж никогда и ничего по субботам не делает, только сидит весь вечер у себя и прыщи давит или чего-то. Мэл сказал, что не *против*, но от радости с ума не сойдет. Экли ему не очень в жилу. В общем, мы разошлись по комнатам собираться и всяко-разно, и пока я вламывался в галоши и прочие дела, покричал этому Экли, не хочет ли сходить в кино. Ему через шторы меня нормально слышно было, но сразу он все равно не ответил. Такие сразу никогда не отвечают. Потом наконец пришел – через эти самые, на фиг, шторы, встал на порожке душа и спросил, кто еще идет. Ей-богу, очутись он где-нибудь на необитаемом острове и спаси вы его, он бы первым делом стал спрашивать, кто на веслах, и только потом сел бы в шлюпку. Я говорю:

– Мэл Броссар.

Он говорит:

– *Вот* гадство... Ладно, я сейчас. – Будто одолжение сделал. Сейчас у него – это часов пять. Пока он там копался, я подошел к окну, открыл и голыми руками слепил снежок. Хорошо из такого снега лепить. Но кидать его я никуда не кинул. Хотя *собрался* было. В машину через дорогу. Но передумал. Путёвая такая машина, белая. Потом я хотел его

кинуть в пожарный гидрант, но он тоже был вроде такой пухлый и белый. В конце концов так я никуда и не кинул. Только закрыл окно и походил с этим снежком по комнате, а сам лепил его все туже. Потом, когда мы с Броссаром и Экли уже сели в автобус, я снежок этот все равно из рук не выпускал. А водитель открыл двери и заставил выбросить. Я ему *говорю*: ни в кого я этим снежком не заеду, – а он не поверил. Никогда никто не верит.

И Броссар, и Экли ту картину уже видали, поэтому мы просто взяли по паре гамбургеров и немного поиграли на пинболе, а потом вернулись на автобусе в Пенси. Не посмотрели кино – ну и фиг с ним. Там какая-то комедия с Кэри Грантом¹² и всякая такая херня. Кроме того, с Броссаром и Экли я уже в кино ходил. Они оба ржут, как кони, даже когда не смешно. Мне с ними рядом противно даже сидеть.

В общагу мы вернулись всего где-то без четверти девять. Этот Броссар на бридже залипает, поэтому он стал искать по всей общаге, с кем бы сыграть. А Экли для разнообразия завис у меня в комнате. Только на ручку Стрэдлейтерова кресла садиться не стал, а разлегся у меня на кровати, прямо харей в подушку мне воткнулся и всяко-разно. И стал бубнить, монотонно так, и в прыщах своих ковыряться. Я тыщу раз ему намекал так и этак, но избавиться от него все равно не смог. Бубнит и бубнит про какую-то свою девку, которую

¹² Кэри Грант (Арчибалд Александр Лич, 1904–1986) – американский киноактер, звезда Голливуда 30—50-х гг. прошлого века.

прошлым летом вроде бы оприходоввал. И до этого сто раз про нее рассказывал. Только всякий раз – по-другому. То он ей засаживает в «бьюике» своего двоюродного, то под променадом на набережной. Сплошная туфта, само собой. Он целочка такая, каких мало. Сомневаюсь, что он даже мацал кого-нибудь. В общем, пришлось мне расколотся и сказать ему, что мне надо сочинение Стрэдлейтеру писать, поэтому пусть он на фиг валит отсюда, чтоб я сосредоточился. Он в конце концов и свалил, но, как обычно, с отвалом своим не торопился. Когда он ушел, я влатался в пижаму и халат, надел этот свой кепарь и сел писать сочинение.

Вся фигня в том, что я не мог придумать ни комнаты, ни дома, ничего, чтоб наглядно описать так, как надо Стрэдлейтеру. Мне по-любому не очень в жилу описывать комнаты и дома. Поэтому я чего – я написал про бейсбольную перчатку моего братца Олли. Очень наглядный предмет. По-честному. У моего братца Олли была эта перчатка полевого игрока на правую руку. Он левша потому что. А наглядного в ней то, что на всех пальцах у нее, и на кармане, и везде понаписаны стихи. Зелеными чернилами. Он их там понаписал, чтоб было чего почитать, когда стоит в поле, а битой никто не машет. Братец уже умер. У него была лейкемия, и он умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мэне. Он бы вам понравился. На два года младше меня, но котелок раз в полста лучше варил. До ужаса варил просто. Его учителя все время записки штруне писали: мол, как им приятно, что у них в классе та-

кой пацан учится. Причем без балды. По серьезу. Но тут дело не только в том, что он в семье был самый умный. Еще он был самый нормальный – по-всякому. Никогда ни на кого не злился. Считается, что рыжие легко выходят из себя, но Олли – никогда, а он был очень рыжий. Я вам скажу, какой. Уже в десять лет я начал играть в гольф. Помню, как-то летом, мне лет двенадцать было, я только прицелился и всяко-разно, как вдруг у меня верняк: я сейчас обернусь, а там Олли. Поворачиваюсь – точно, сидит на велике за оградой: там все поле огороженное, и он сидит, ярдов сто пятьдесят от меня, смотрит, как я первый удар сделаю. Вот какой он рыжий был. Но все равно – ох какой же он был путёвый. Иногда за ужином подумает о чем-нибудь – и так ржать начинает, что со стула чуть не падает. Мне всего тринадцать было, и меня собирались отдать мозгоправу и всяко-разно, потому что я в гараже все стекла перебил. Ну и отдали бы. По-честному. Когда он умер, я ночевал в гараже и кулаком перебил все, на фиг, стекла – а просто так. Я даже хотел побить стекла в том «универсале», который у нас тогда летом был, только руку себе уже сломал и вообще, потому и не смог. Дурь, конечно, это да, но я вообще не соображал, что делаю, а вы Олли не знали. Рука у меня до сих пор иногда побаливает, если дождь и всяко-разно, и кулак до конца не сжимается – в смысле, чтобы вмазать, – а так мне наплевать. В смысле, я ж все *равно* не буду хирургом там, или скрипачом, или еще *как-то*.

Ладно, в общем, про это я и написал Стрэдлейтеру сочи-

нение. Про эту перчатку Олли. У меня она в чемодане нашлась, я ее вытащил и списал с нее стихи. Только надо было Олли имя поменять, а то доедут, что это мой братец, а не Стрэдлейтера. Не очень в жилу было его менять, но ничего другого наглядного я так и не придумал. А кроме того, писать про это было, с понтом, зашибись. Где-то около часа ушло, потому что печатать надо было на паршивой машинке Стрэдлейтера, а она у меня все время заедала. На своей я не печатал, потому что дал ее одному парню дальше по коридору.

Где-то пол-одиннадцатого, наверно, закончил. Но ни устал, ничего, поэтому еще сколько-то смотрел в окно. Снег больше не шел, только время от времени где-то машина никак не заводилась. Да еще слышно было, как этот Экли храпит. Добивало через все эти, на фиг, душевые шторы. У него чего-то с пазухами, поэтому, когда спит, дышать ему не в жилу. С этим парнем вообще все не так. Пазухи, прыщи, зубы паршивые, изо рта воняет, ногти захезанные. Даже как-то жалко падлу эту долбанутую.

6

Бывает, какую-то фигню вспомнить трудно. Я вот думаю, как Стрэдлейтер вернулся со своей свиданки, которая с Джейн. В смысле, я точно не помню, чего делал, когда услышал эти его дурацкие, на фиг, шаги по коридору. Наверно, еще в окно глядел, но честно – я не помню. Потому что, на фиг, колотился. Если меня насчет чего-то по серьезу колотить начинает, я не шибуюсь просто так. Если меня колотит, мне даже отлить хочется. Только я не отливаю. Меня слишком колотит. И я не хочу отвлекаться. Если б вы знали Стрэдлейтера, вас бы тоже заколотило. Я с этим гадом пару раз на спаренные свиданки ходил, я в курсе. Он беспринципный. По-честному.

В общем, в коридоре там сплошь линолеум и всяко-разно, поэтому слышно его было, на фиг, до самой комнаты. Я даже не помню, где сидел, когда он зашел, – возле окна, у себя в кресле или у него. Честно не помню.

Он заходит и давай гундеть, какая на улице холодрыга. Потом говорит:

– А где, на хер, все? Тут, на фиг, как в морге.

Я даже отвечать ему не стал. Если он такой, на фиг, дурила и не соображает, что раз у нас суббота и вечер, все либо шляются где-то, либо дрыхнут, либо домой на выходные отвалили, – чего ради мне морочиться и его просвещать? Он

стал раздеваться. Ни одного, на фиг, слова про Джейн не сказал. Ни единого. Я тоже. Только смотрю на него. Он мне хоть спасибо сказал за пидж. Определил его на вешалку и сунул в шкаф.

А потом, когда галстук развязывал, спрашивает, написал ли я ему это, на фиг, сочинение. Я говорю: у тебя на кровати, на фиг. Он пошел и стал читать, пока рубашку расстегивал. Стоит, читает и себя вроде как по голой груди и животу поглаживает, а рожа при этом дурацкая. Он себя вечно по груди и животу гладит. Прямо сохнет по себе.

И тут вдруг мне говорит:

– Холден, *язви* тебя. Это же, на фиг, про бейсбольную перчатку.

– И чего? – говорю я. Холодно так говорю, как не знаю что.

– В смысле – и *чего*? Я ж тебе сказал, надо про *комнату*, на фиг, про дом или еще как-то.

– Ты сказал, что надо наглядно. Какая, на фиг, разница, если про бейсбольную перчатку?

– Пошел ты к черту. – Он разозлился, как не знаю что. По-честному рассвирепел. – Ты вообще все через жопу делаешь. – Посмотрел на меня: – И чего удивляться, если ты тут, на фиг, провалился, – говорит. – Ты же, *на фиг, ни шиша* не делаешь, как надо. Без балды. Ни шиша, на фиг.

– Ладно, тогда давай его сюда, – говорю. Встал и выдернул сочинение прямо, на фиг, у него из руки. И порвал.

– Ты это на хера? – спрашивает он.

Я ему даже не ответил. Только клочки в мусорку выкинул. Потом лег на свою кровать, и мы с ним долго ничего не говорили. Он весь разделся, до трусов, а я лежал – а потом закурил. В общежитии курить нельзя, но если ночью, когда все дрыхнет, или нет никого и никто дым не нашмыгает, то можно. Кроме того, мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Его с тормозов просто сносит, если правила нарушаешь. Он-то в общежитии никогда не курил. Только я.

И он по-прежнему ни одного слова про Джейн не сказал. Поэтому я в конце концов говорю:

– Ты, на фиг, что-то поздно вато вернулся, если она только до полдесятого отпрашивалась. Это она, выходит, из-за тебя опоздала?

Он сидел у себя на кровати как раз, стриг, на фиг, ногти на ногах, когда я у него это спросил.

– На пару минут, – говорит. – Кому вообще в голову придет в субботу отпрашиваться только до полдесятого?

Ёксельмоксель, как же я его ненавижу.

– В Нью-Йорк смотались? – спрашиваю.

– Чокнулся? Как тут, на хер, смотаешься в Нью-Йорк, если она до полдесятого отпросилась?

– Да, туго.

Он на меня пялится.

– Слышь, – говорит, – если ты в комнате курить будешь, может, в тубзо пойдешь это делать? Может, ты на хер отсюда и сваливаешь, а мне придется до выпуска тут зависнуть.

Пошел он. По-честному. И я курил себе дальше, как ненормальный. Только на бок вроде как повернулся, чтобы посмотреть, как он ногти себе, на фиг, стрижет. Что надо школа. Куда ни глянешь – кто-нибудь или ногти стрижет, или прыщи давит, или еще как-то.

– Ты ей привет передал? – спрашиваю.

– Ну.

Хрен там, гад.

– Чего сказала? – говорю. – Ты спросил, она по-прежнему дамок в задней линии держит?

– Нет, не спросил. Ты чего, на хер, думаешь, мы весь вечер чего – в шашки играли, язвы тебя?

Я ему и отвечать не стал. *Как же я его ненавидел.*

– Так если в Нью-Йорк не летали, куда вы с ней тогда ходили? – спрашиваю я чуть погодя. Я едва сдерживался, чтоб голос на всю комнату не трясся. Ух как меня колотило. У меня так и было *предчувствие*, что у них там что-то не то стряслось.

Тут он ногти свои, на фиг, достриг. Встал в одних трусах, на фиг, и давай, на фиг, дурачиться. Подошел к моей кровати, нагнулся и ну меня в плечо дуругонски так фигачить.

– Кончай, – говорю. – Вы где с ней были, если в Нью-Йорк не ездили?

– Нигде. Сидели в машине просто, на фиг. – И долбанул еще разок, дуругон.

– Харэ, – говорю. – В чьей машине?

– Эда Бэнки.

Эд Бэнки в Пенси баскетболистов тренировал. Этот Стрэдлейтер у него в любимчиках, потому что в команде центровой, и Эд Бэнки, если надо, всегда ему давал машину. Учащимся вообще-то не разрешается брать у преподавов машины, но все эти гады спортивные вместе кучкуются. Во всех школах, куда я ходил, спортивные гады – одна шайка-лейка.

А Стрэдлейтер мне все так же в плечо метил. У него в кулаке зубная щетка была, и он ее сунул в рот.

– И чего делали? – спрашиваю. – Оприходовал ты ее в машине Эда Бэнки? – А голос у меня дрожит – аж жуть.

– Ай-я-яй, как некрасиво. Ну-ка давай я тебе рот с мылом вымою.

– Да или нет?

– Это секрет фирмы, старичок.

Чего дальше было, я не сильно помню. Я только с кровати встал, с понтом, в тубзо или как-то, а потом попробовал Стрэдлейтеру заехать со всей дури – прямо в эту его щетку, чтоб она ему, на фиг, всю глотку раскроила. Только промазал. Недобил. Попал ему в висок там или куда-то. Может, и больно, а все равно не как мне хотелось. Может, и больнее было бы, но я вмазал ему правой, а она у меня нормально не сжимается. Из-за травмы этой, я вам говорил.

В общем, дальше я помню, что валяюсь, на фиг, на полу, а он сидит на мне, и рожа вся красная. То есть не сидит даже, а *колени* мне на грудь поставил, а весит он тонну, не меньше. И

руки мне прижимает, чтоб я, значит, еще раз ему не вмазал. Убил бы.

– Чего за херня, а? – талдычит он, а рожа его дурацкая все больше багровеет.

– Убери свои паршивые *колени* с моей *груди*, – говорю. Сам чуть не реву. По-честному. – Давай, *двигай*, урод захезанный.

А он ни в какую. Руки не отпускал мне, хоть я его обзывал падлой и всяко-разно часов, наверно, десять. Даже и не помню, что еще я ему говорил. Говорил, что он думает, будто может оприходовать кого захочет. Говорил, что ему наплевать, держит девка всех дамоч в задней линии или нет, а наплевать ему потому, что он, на фиг, тупой дебил. Он терпеть не может, если его дебилом называют. Всем дебилам это не в струю.

– Пасть свою закрой, Холден, – говорит он, а у самого рожа дурацкая, багровая. – Заткни пасть и все, ага?

– Ты даже не знаешь как ее зовут, Джейн или *Джин*, на фиг, дебил ты!

– А ну *заткнись*, Холден, язви тебя в душу, – я тебя предупредил, – говорит он; так я его завел. – Если пасть не заткнешь, я тебе точняк пропишу.

– Убери свои вонючие дебилные колени с моей груди.

– Я отпущу, а ты хлебало свое больше не раскроешь?

Я ему и отвечать не стал.

Он давай еще раз:

– Холден. Я тебя отпущу, а ты орать больше не будешь, лады?

– Да.

Он с меня встал, и я тоже поднялся. Грудь у меня от его гнусных коленей болела, как не знаю что.

– Ты гнусная дурацкая падла даже, а не дебил, – говорю.

Тут уж он без *балды* с катушек слетел. Дурацким пальцем своим у меня под носом аж затряс.

– Холден, язви тебя в бога, я тебя *предупреждаю*. Последний раз. Еще разинешь хайло, я тебя...

– А чего и не разинуть? – отвечаю, ору практически. – У вас, у дебилов всегда одно и то же. Вы никогда не хотите ни о чем поговорить. Так дебилов и определяют. Они никогда ни о чем разум...

Тут он мне по-честному и прописал, и дальше я помню только, что, на фиг, снова на полу валяюсь. Не помню, вырубил он меня или нет, но скорее всего нет. Вырубить – это не баран чихнул, только в кино легко, на фиг. Но из носа у меня кровиха по всей комнате хлестала. Когда я посмотрел вверх, Стрэдлейтер чуть не на голове у меня стоял. И под мышкой – этот его, на фиг, несессер.

– Ты чего, на хер, не затыкаешься, когда говорят? – спрашивает. Похоже, его будь здоров потряхивало. Наверно, обделался, что у меня в черепе трещина или как-то, когда я на пол грохнулся. Зря это я все-таки. – Сам напросился, язви тебя, – говорит. Ух как его трясло.

Я даже и вставать не стал. Полежал себе на полу, пообзывал его дебильной падлой. Я так разозлился, что чуть не ревел.

– Слышь. Сходи рожу себе умой, – говорит Стрэдлейтер. – Ты меня слышишь?

Я ему сказал, чтоб сам шел умывать свою дебильную рожу – детский сад, конечно, только я так рассвирепел, что не знаю. И еще сказал ему, чтобы по пути в тубзо зашел и оприходовал миссис Шмидт. Это жена коменданта. Ей лет шестьдесят пять.

Я так и сидел на полу, пока не услышал, как этот Стрэдлейтер закрыл дверь и пошел по коридору к тубзу. Потом только встал. Охотничий кепарь мой на фиг куда-то задевался. Наконец я его нашел. Под кроватью. Надел и этот козырек на затылок сдвинул, как мне больше в жилу, а затем пошел и посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Такого месива нигде больше не увидишь. Вся пасть в крови, и подбородок, и даже пижама с халатом. Я, с одной стороны, перетрухал, а с другой – увлекательно. Столько кровищи – уматно же смотрится. Я в жизни дрался всего пару раз, и меня *оба* раза колотили. Я вообще-то не сильно крутой. Я пацифист, сказать вам правду.

Катавасия у нас была такая, что Экли наверняка услышал и проснулся. Поэтому я через душевые шторы пошел к нему – поглядеть, что он, на фиг, делает. Я к нему в комнату вообще почти не хожу. Там всегда воняет как-то не в жилу – все

потому, что он весь захезанный и с гигиеной у него голяк.

Сквозь шторы из нашей комнаты падало капельку света, и я увидел, что на кровати лежит Экли. Сразу, на фиг, видно, что не спит.

– Экли? – говорю. – Не спишь?

– Не-а.

Там было вполне себе темно, и я наступил на чей-то ботинок и чуть башкой об пол не дерябнулся. Экли вроде как аж сел на кровати и на руку оперся. Вся рожа у него была намазана какой-то белой дрянью – от прыщей. В темноте мог и напугать.

– Ты вообще какого хера тут делаешь? – говорю.

– В смысле – какого хера? Я *друшлять* пытался, пока вы хай не подняли. Вы чего там вообще собачились?

– Где тут свет? – Я никак не мог найти выключатель. Шарил руками по всей стенке.

– На фига тебе свет?.. Вон, под рукой у тебя.

Наконец я его нашел и зажег. Этот Экли прикрылся, чтоб светом глаза не резало.

– *Бож-же!* – говорит. – Чего это за херня с тобой? – Это он про кровь и всяко-разно.

– Это мы со Стрэдлейтером, на фиг, посрались, – говорю. Потом сел на пол. У них в комнате никогда кресел не было. Хрен его знает, что они с ними тут сделали. – Слышь, – го-

ворю, – а ты в канасту не хочешь сыграть?

– Да у тебя еще *кровь* идет, елки-палки. Ты приложил бы что-нибудь.

– Перестанет. Слышь. Так ты будешь в канасту или не будешь?

– В канасту, елки-палки. Ты вообще в курсах, сколько сейчас времени?

– Еще не поздняяк. Всего где-то одиннадцать, полдвенадцатого.

– *Всего* где-то! – говорит Экли. – Слышь. Мне утром встать на *мессу*, елки-палки. А вы там – орать и срать, на фиг, посреди... А какого хера вообще дрались?

– Долго рассказывать. Не хочу тебя грузить, Экли. Думаю о твоём благополучии, – говорю. Я ему никогда про свою жизнь не рассказывал. Во-первых, он еще тупее Стрэдлейтера. Рядом с Экли Стрэдлейтер – на фиг, гений. – Эй, – говорю, – а ничего, если на койке Эли сегодня посплю? Он же до завтра не вернется? – Я, на фиг, отлично знал, что не вернется. Эли ездил домой почти на каждые, на фиг, выходные.

– Не знаю я, когда он, на хер, вернется, – говорит Экли.

Ух как меня такое достает.

– Это в каком смысле, на хер, ты не знаешь, когда он вернется? Он же всегда только в воскресенье *вечером* приезжает, нет?

– Да, но, елки-палки, я ж не могу разрешать кому попало спать на его *койке*, если им приспичит.

Я чуть не сдох. Не вставая с пола, дотянулся и потрепал его, на фиг, по плечу.

– Ты просто принц, сынок, – говорю. – Знаешь, что ты принц?

– Нет, я в смысле... Я ж не могу никому сказать: валяй, спи...

– Настоящий принц. Ты, сынок, – джентльмен и истинный ученый. – И это вообще-то правда. – А у тебя случайно покурки не найдется? Скажи «нет» – или я на месте сдохну.

– Вообще-то нет. Слышь, так вы за каким хером подрались-то?

Я ему не ответил. Только встал, подошел к окну и выглянул. Мне вдруг так одиноко стало. Уж лучше б я, наверно, и точно сдох.

– Так вы все-таки из-за какого хера дрались? – спрашивает Экли уже, наверно, в полусотый раз. Зануда, ни дать ни взять.

– Из-за тебя, – говорю.

– Из-за *меня*, елки-палки?

– Ну. Я защищал твою, на фиг, честь. Стрэдлейтер сказал, что ты – говнецо человек. А я такого спустить ему не мог.

Тут он разгоношился:

– Правда? Шутишь? Правда, он так сказал?

Я ответил, что шучу, а затем пошел и лег на кровать Эли. Ух как мне было паскудно. Так, на фиг, одиноко.

– У вас тут воняет, – говорю. – Твои носки добивают аж

досюда. Ты их что, в стирку не сдаешь?

– Если не нравится, ты знаешь, что делать, – говорит Экли. Остряк, тоже мне. – Как насчет свет, на фиг, выключить?

Только сразу выключать я не стал. Полежал на койке Эли, подумал про Джейн и всяко-разно. Меня просто сносило с тормозов все это долбанутое безумие, когда я думал, как они со Стрэдлейтером сидят где-то в машине этого толстожопого Эда Бэнки. Стоит подумать про такое – и в окно прыгнуть хочется. Фигня в том, что вы Стрэдлейтера не знаете. А я его знал. Почти все парни в Пенси только *трепались* про то, как они все время девчонок сношают, – вот Экли, например, – а этот Стрэдлейтер и впрямь их сношал. Я лично знал по крайней мере двух, кого он оприходовал. По-честному.

– Экли, а расскажи мне о своей увлекательной жизни, сынок, – говорю.

– Как насчет свет, на фиг, погасить? Мне утром на мессу вставать.

Я встал и выключил, пусть радуется. Потом снова лег на койку Эли.

– Ты чего – спать будешь на койке Эли? – спрашивает Экли. Само радушие, ух.

– Можно. А можно и нет. Ты не кипишишь.

– Я не *кипишусь*. Только мне жуть как не хочется, если Эли вдруг придет, а тут кто-то...

– Расслабься. Не буду я тут спать. Я не стану злоупотреблять твоим, на фиг, гостеприимством.

Через пару минут он уже храпел, как подорванный. А я все равно просто лежал в темноте и старался не думать про этих Джейн со Стрэдлейтером в этой их, на фиг, машине Эда Бэнки. Только куда деваться? Фигня в том, что я знал, какой у этого Стрэдлейтера метод. Оттого все еще хуже. Мы с ним однажды устроили спаренную свиданку в машине Эда Бэнки, и Стрэдлейтер сидел сзади со своей девкой, а я со своей – впереди. Ну и подходцы у этого парня. Он вот чего делал: он девке своей давай гонять пургу – тихо так, *искренне*, вроде бы он не только очень симпатный парень, но и путёвый, *искренний*. Я чуть не сблевуул. Девка его канючит: «Нет – *прошу* тебя. Пожалуйста, не надо. *Прошу* тебя». А этот Стрэдлейтер пуржит себе дальше, искренне, как Авраам Линкольн, – и в конце концов сзади повисает такое неслабое молчание. Сплошной неудобняк, по-честному. Не думаю, что он ту девку тогда оприходовал, но очень к тому, на фиг, близко. *Очень* близко, на фиг.

Лежу я себе и пытаюсь не думать, и слышу, как у нас в комнате этот Стрэдлейтер из тубза вернулся. Сложил свои захезанные приبلуды и всяко-разно, окно открыл. Очень он у нас свежий воздух любит. Потом, чуть погода, выключил свет. Даже не стал смотреть, куда я делся.

А на улице еще тоскливей. Даже машин больше не слышно. Мне так одиноко и паскудно сделалось, что даже захотелось разбудить Экли.

– Эй, Экли! – как бы шепчу я, чтоб Стрэдлейтер через

шторки не услышал.

А Экли меня не слышит.

– Эй, Экли!

Все равно не слышит. Дрыхнет, как бревно.

– Эй, *Экли*!

Ну вот тут услышал.

– Да что с тобой за херня такая? – говорит. – Сплю я, елки-палки.

– Слышь. А как в монастырь поступают? – спрашиваю. Я как бы раздумывать начал, не поступить ли. – Надо католиком быть и всяко-разно?

– *Само* собой, надо быть католиком. Гад, ты меня разбудил, только чтоб со своими тупыми воп...

– Ай, да спи себе дальше. Никуда я не пойду. Мне все равно везет так, что поступлю куда-нибудь, а там монахи неправильные. Дурацкие гады какие-нибудь. Или просто гады.

Только я так сказал, этот Экли на кровати своей аж подскочил, на фиг.

– Слышь, – говорит. – Мне наплевать, что ты обо *мне* говоришь или еще чего, но если будешь острить про мою, на фиг, *веру*...

– Расслабься, – говорю. – Никто про твою, на фиг, веру не острит.

Я встал с койки Эли и пошел к двери. Не хотелось мне больше такого дурагонства. По пути остановился, взял Экли за руку и крепко так, фуфлово пожал. А он эту руку отдер-

нул.

– Чего за дела? – спрашивает.

– Да никаких дел. Просто хотел сказать тебе спасибо за то, что ты такой, на фиг, сказочный принц, вот и все. – Я это сказал очень искренне. – Ты просто лучше некуда, сынок, – говорю. – Ты в курсе?

– Умник. Тебе по мозгам-то когда-нибудь...

Я даже не стал его дослушивать. Закрыл, на фиг, дверь и вышел в коридор.

Все либо дрыхли без ног, либо шлялись, либо домой на выходные поразъехали, и в коридоре было очень, очень тихо и тоскливо. Под дверью, где жили Хоффман с Лии, валялась пустая коробочка из-под зубной пасты «Колинос», и весь коридор до лестницы я пинал ее своим тапком с овчиной. Ну чего, думал я, может, сходить поглядеть, чего этот Мэл Броссар делает? Но тут вдруг передумал. Я ни с того ни с сего решил, что по-честному сделать надо вот чего – обратиться, на хер, из Пенси, вот прямо сразу, ночью, и все дела. А не ждать до среды или как-то. Мне просто не хочется тут больше зависать. Слишком уж убого и одиноко. Поэтому я вот чего решил – я решил снять номер в нью-йоркской гостинице, какой-нибудь не сильно дорогой и всяко-разно, и до среды не рыпаться. А потом в среду поеду домой – когда отдохну, и мне будет вполне себе шикарно. Я прикинул, что штрики, наверно, письмо этого Тёрмера, где сказано, что меня выперли, не получают, может, до вторника-среды. Мне

и домой-то не хотелось возвращаться, пока они это письмо не переварят. Мне вовсе не в жилу там быть, когда они его только *получат*. Штруня у меня сильно в истерику впадает. Хотя, как только переварит до конца, с ней все не так плохо. А кроме того, мне бы каникулы вроде как не повредили. Нервы ни к черту. По-честному.

В общем, так я и решил. Поэтому вернулся к себе, зажег свет, чтоб вещи собрать и всяко-разно. У меня уже, в общем, кое-что было собрано. Этот Стрэдлейтер даже не проснулся. Я закурил и оделся, а потом сложил все в свои два «гладсто-на». Ушло минуты две. Я очень быстро пакуюсь.

На меня при сборах только одно тоску немного навело. Пришлось укладывать новые коньки, что мне штруня прислала, считай, пару дней назад. Оттого и тоска. Я так и видел: штруня заходит в «Сполдингз» и давай продавцу миллион бажбанских вопросов задавать – а меня тут опять из школы выперли. Тут мне по-честному убого и стало. Она не те коньки купила – мне хотелось беговые, а она купила хоккейные, – но мне стало все равно убого. Так почти всегда: кто бы мне что-нибудь ни дарил, заканчивается убого.

Я сложил все, а потом гроши свои посчитал. Не помню точно, сколько у меня было, но втарен я был как надо. Бабуля неделю назад мне пачку прислала. У меня бабуля есть, так на гроши она не жметя. У нее уже не все дома – она старая, как я не знаю что, – и гроши на деньрож она мне высылает раза по четыре в год. В общем, хоть я и втарен был, но при-

кинул, что лишние гроши не помешают. Поди угадай. Я поэтому вот чего – я пошел и разбудил Фредерика Вудраффа, которому свою машинку давал. И спросил, сколько он мне за нее даст. Он парень будь здоров богатенький. Но говорит: не знаю. Дескать, ему ее покупать не очень хочется. Но в конце концов все-таки купил. Стоила она где-то девяносто, а он купил за двадцатку. И дулся еще, что я ему спать не даю.

Когда я уже весь собрался, чемоданы и всяко-разно, я немного постоял у лестницы и в последний раз оглядел весь, на фиг, коридор. Я как бы даже ревел. Не знаю, чего ради. Я надел свой красный охотничий кепарь, сдвинул козырек на затылок, как мне нравилось, а потом во весь, на фиг, голос заорал:

– Сладких снов, дебилы!

Точняк всех гадов разбудил на целом этаже. А потом, на хер, свалил оттуда. Какой-то недоумок разбросал по всей лестнице скорлупу от арахиса, и я, на фиг, чуть шею себе не своротил.

8

Позднѣякъ было вызывать мотор или как-то, поэтому до вокзала я всю дорогу пѣр пехом. Там не очень далеко, но дубак стоял, как я не знаю что, а идти по снегу трудно, и «глад-стоны» лупили, на хер, мне по ногам. Но воздух был зашибись. Засада только в том, что от мороза у меня нос болел и под самой верхней губой, куда мне этот Стрэдлейтер впро-рол. Губу мне прямо по зубам раскатал – будь здоров болело. А вот ушам нормально и тепло. У кепаря были уши, и я их опустил – и надристать, как я выгляжу. Все равно вокруг никого. Все друшляют.

Мне нормально так повезло, когда я добрался до вокзала, потому что поезд был всего через десять минут. Пока ждал, загреб в руку снега и вымыл рожу. Кровищи было еще порядочно.

Обычно мне нравится ездить на поезде, ночью особенно, когда свет горит, а окна такие черные, и кто-нибудь ходит по вагону и продает кофе, бутерброды и журналы. Обычно я покупаю бутер с ветчиной и штуки четыре журнала. Если я еду на поезде ночью, можно даже какой-нибудь тупой рассказ в журнале почитать и не сблегнуть. Ну, короче. В рассказах этих обычно целая куча фуфловых парней по имени Дэвид, у которых щека со щекой целуются, и целая толпа фуфловых девиц по имени Линда или Марша, которые всем этим Дэви-

дам трубки, на фиг, подкуривают. Обычно в поезде ночью я даже могу такой паршивый рассказ почитать. Только сейчас все было не так. Мне просто не хотелось. Я вроде как сидел и ничего не делал. Только снял кепарь и сунул в карман.

Вдруг в Трентоне заходит эта дамочка и садится рядом. Чуть ли не весь вагон пустой – все-таки поздняя и всяко-разно, и она берет и садится рядом, а не на пустое место: просто у нее с собой такой огромный баул, а я сижу впереди. Баул она уместила в проходе, чтоб контролер или еще кто перецепился. И еще на ней такие орхидеи, будто она прямо с бала или как-то. Лет сорок – сорок пять, наверно, но очень ничего себе. От теток я прямо подыхаю. По-честному. Нет, я ни озабоченный, ничего, хоть сам вполне себе ничего. В смысле, они мне просто нравятся. Всегда свои, на фиг, баулы посреди прохода оставляют.

Ладно, в общем, сидим мы, как вдруг она говорит:

– Извините, это у вас наклейка школы Пенси? – Она как раз на мои чемоданы глядела, на полке.

– Да, ее, – отвечаю. Тут она угадала. У меня на одном «гладстоне» наклейка Пенси, точно. Фофанство, но что уж теперь.

– О, вы учитесь в Пенси? – спрашивает. Голос ничего такой. Путёвый, как в телефоне. Надо бы ей с собой, на фиг, телефон таскать.

– Да, в ней, – говорю.

– О, как это славно! Тогда, может, вы и сына моего знаете

– Эрнест Морроу? Он тоже учится в Пенси.

– Знаю. Он у нас в классе.

Сынок ее – вне всяких сомнений величайший гад, что учился в Пенси за всю захезанную историю школы. Всегда по коридору ходит после душа и мокрым этим полотенцем своим всем по жопам хлещет. Такой вот парняга.

– О, как мило! – говорит дамочка. Но не фофански говорит – нормально так и всяко-разно. – Надо будет сказать Эрнесту, что мы познакомились, – говорит. – Можно спросить, как вас зовут, дорогой мой?

– Рудольф Шмидт, – отвечаю. Не в жилу мне всю свою биографию излагать. А Рудольф Шмидт – это у нас комендант в общежитии.

– А вам нравится Пенси? – спрашивает она.

– Пенси? Да ничего так. Не *рай*, конечно, чего там, но не хуже прочих. Есть вполне себе добросовестные преподаватели.

– Эрнест ее просто обожает.

– Я знаю, – говорю. А потом давай обычную тупую поменьше пулять. – Он очень хорошо приспособляется. Почестному. Ну то есть, хорошо вливается.

– Вы так считаете? – спрашивает она. Вроде заинтересовалась, как я не знаю что.

– Эрнест? Ну еще бы, – говорю. И тут она перчатки стала снимать. Ух меня от брюликов чуть не затошнило.

– Я ноготь сломала, когда из такси выходила, – говорит. Посмотрела на меня и вроде как улыбнулась. Неслабая у нее

такая улыбка. По-честному путёвая. Люди же вообще почти не улыбаются или лыбятся паршиво. – Мы с отцом Эрнеста иногда очень за него переживаем, – говорит. – Иногда у нас такое чувство, что он не очень хорошо умеет общаться.

– Это в каком смысле?

– Ну – он очень чувствительный мальчик. И ему не всегда хорошо удается общаться с другими ребятами. Наверное, все воспринимает гораздо серьезнее, чем следует в его возрасте.

Чувствительный. Я чуть не сдох. Этот тип Морроу примерно такой же чувствительный, как стульчак.

Я хорошенько на нее посмотрел. Вроде не баббанка на вид. Может, и соображает, на фиг, какого гада родила. Но тут не всегда определишь – у чужой штруни, в смысле. Штруни всегда немного того. Но такая фигня: штруня Морроу мне понравилась. Путёвая.

– Сигарету не желаете? – спрашиваю.

Она огляделась.

– Мне кажется, Рудольф, в этом вагоне не курят, – говорит. Рудольф, ага. Я чуть не сдох.

– Да ничего. Можно покурить, пока орать не начнут, – говорю. Она взяла у меня сигу, и я ей дал подкурить.

Нормально она выглядела с сигой. Затягивалась и всяко-разно, но не *жадно*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.